

В Л А Д И М И Р
НАБОКОВ

ВОЛШЕБНИК



Санкт-Петербург
Издательская Группа
«Азбука-классика»
2009

ВЛАДИМИР
НАБОКОВ

УДК 82/89
ББК 84.7 США
Н 14

Copyright © 1986, Dmitri Nabokov
Author's Note One copyright © 1957, Vladimir Nabokov
Author's Note Two copyright © 1986 by Article 3C Trust
under the Will of Vladimir Nabokov

Russian translation of Author's Note Two and One a Book
Entitled The Enchanter copyright © 2009 by the Estate
of Vladimir Nabokov

All rights reserved, including the right of reproduction in
whole or in part in any form. This edition published by
arrangement with the Estate of Vladimir Nabokov.

Первое примечание автора публикуется
в переводе Дмитрия Набокова

Второе примечание автора и статья
«О книге, озаглавленной „Волшебник“»
публикуются в переводе Алексея Скляренко

Оформление серии Вадима Пожидаева

ISBN 978-5-9985-0233-0

© Издательская Группа
«Азбука-классика», 2009

Bepe

ПЕРВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА¹

Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года², в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого-то ученого, набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился

¹ Отрывок из эссе «О книге, озаглавленной „Лолита“», изначально опубликованного по-французски в *L’Affaire Lolita*, Париж, Олимпия, 1957, и затем печатавшегося как Послесловие к роману.

² Из рукописи «Волшебника» было установлено, что это произошло в 1939 году.

прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный «Волшебник», в тридцать, что ли, страниц¹. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года (лучшие из них не переведены на английский², и все они запрещены по политическим причинам в России³). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и, после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отеле в номере, бросился под колеса грузовика. [В этом кратком пересказе сюжета Набоков называет имя своего героя: он размышляет о нем как об Артуре, наделяя его именем, которое, возможно, и встречалось в давно утраченных черновиках, но не упоминается ни в одном из известных манускриптов.] В одну из тех военных времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп

¹ Отец не видел рассказа много лет, и его память несколько увеличила его длину.

² Позднее это было исправлено.

³ Запрет оставался в силе до июля 1986 года, когда советская литературная верхушка, видимо, наконец поняла, что социалистический реализм и художественная реальность не всегда совпадают, и печатный орган этой верхушки совершил резкий зигзаг, объявив, что «пришло время вернуть В. Набокова нашим читателям».

синей бумагой¹, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, два революционера-социалиста² и женщина-врач³; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-м году.

Девять лет спустя, в университетском городе Итака (в штате Нью-Йорк), где я преподавал русскую литературу, пульсация, которая никогда не прекращалась совсем, начала опять преследовать меня. Новая комбинация присоединилась к вдохновению и вовлекла меня в новую обработку темы; но я избрал для нее английский язык — язык моей первой петербургской гувернантки (1903 год), мисс Рэчель Оум. Несмотря на смесь немецкой и ирландской крови вместо одной французской, нимфетка осталась той же, и тема женитьбы на матери — в основе своей — тоже не изменилась; но в других смыслах вещь приняла совершенно новый вид; у нее втайне выросли когти и крылья романа.

¹ Мера предосторожности против воздушного налета.

² Владимир Зензинов и Илья Фондаминский.

³ Мадам Коган-Бернштейн.

ВТОРОЕ ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА¹

Как я пояснил в статье, служащей послесловием к «Лолите», осенью 1939 года, в Париже, я написал новеллу — своего рода предшественницу «Лолиты». Я был уверен, что давным-давно уничтожил ее, но сегодня, когда Вера и я готовили дополнительные материалы для отправки в Библиотеку Конгресса, вдруг обнаружился один-единственный экземпляр рассказа. Моим первым шагом было отправить его (вместе со стопкой карточек, содержащих неиспользованные наброски к «Лолите») на хранение в Библиотеку Конгресса, но затем мне пришлось в голову нечто другое.

¹ Отрывок из письма от 6 февраля 1959 года, в котором Набоков предложил «Волшебника» Уолтеру Минтону, возглавлявшему тогда издательство «Путнам». Ответное письмо Минтона выражало живой интерес, но, по-видимому, рукопись так и не была отправлена. В то время отец был погружен в перевод «Евгения Онегина», «Аду», киносценарий «Лолиты» и проверку моего перевода «Приглашения на казнь». Вероятно, он решил, что в его напряженном графике не найдется места для еще одного проекта.

Вещица представляет собой рассказ, занимающий пятьдесят пять машинописных страниц, написанный по-русски и озаглавленный «Волшебник» (“The Enchanter”). Теперь, когда творческая связь между мной и «Лолитой» порвана, я перечел «Волшебника» с куда бóльшим удовольствием, чем то, которое испытывал, припоминая его как отработанный материал во время написания «Лолиты». Это прекрасный образчик русской прозы, точной и прозрачной, который при некотором старании может быть переведен на английский Набоковыми.

Владимир Набоков
1959

ВОЛШЕБНИК

«Как мне объясниться с собой? — думалось ему, покуда думалось. — Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий пред-полагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, что́ бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность, — ибо и в мыслях допустить не могу, что причину боль или вызову забываемое отвращение. Вздор; я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная

софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей (не просто безопасность, а права одичания, или это — порочный круг с пальмой в центре?). Рассудком зная, что эвфратский абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опозлить то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Чтó, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не выросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня, — сколько их на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках, — *такие* мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному — сырая женщина-друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, по-простому — знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова — и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который

отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому — очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или *то* — редкое цветение *этого* в Иванову ночь моей темной души, — потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств — если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно — и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая, точная и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате — тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы, — и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью

позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самоожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все-таки — милость) и печальной усмешкой (все-таки — жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища — сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами, — он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно для того, чтобы линии начинали дрожать и таять, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой — и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дождался ее отца, — колотьба в груди — «а щечотки боишься?» — или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы

и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, суккуба так и не заметивших, он поражался и своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада глаз обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худощавый, сухогубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишь.

Слева сидела старая краснолобая брюнетка в трауре, справа — белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально-проверочным взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о пригожей ладности новой обуви, он случайно заметил около каблука крупную, полущербленную гравинками, никелевую монету. Поднял. Усатая слева ничего не ответила

на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Приносит счастье в нечетные дни».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в — ».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматривал скульптурную роскошь черной церковки.

«...Мы-то живем по другой стороне реки. Весь склон в плодовых садах, — красиво, — и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива, — подумал он. — Кажется, придется пересечь».

Но тут-то взвивается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно), торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось) ему казалось, что тогда же, тотчас он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжевато-русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных перед-

них зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность ее узкой, уже не совсем плоской груди, передвижение юбочных складок, их короткий размах и мягкое впадение, стройность и жар равнодушных ног, грубые ремни роликов.

Она остановилась перед его общительной соседкой, которая, отвернувшись, чтобы покопаться в чем-то лежавшем справа, достала и протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремни — всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колесиках, — и, сойдя к нам на землю, выпрямившись с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремилась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни, — и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась вовсю, плеча освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной ей игрой света под лилово-зелеными деревьями.

«А дочка у вас, — заметил он бессмысленно, — уже большая».

«О нет, она мне ничем не приходится, — сказала вязальщица, — у меня своих нет — и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка подправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстяного зародыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запятки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады, — нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («До свиданья», — ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающуюся тень, исподлбья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы, — и, в ожидании своей очереди, отставя ногу, скрестив горящие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его

страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножницы ног. «Улыбка рассеянности, — подумал он жалко, — но все-таки ведь рассеянным бывает только человек».

На рассвете, опустив плавник, отложив снулую книгу, он вдруг набросился на себя — почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговориться, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полугувернанткой, — и он вообразил жовиального господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность — все так же жовиально — на колени к себе забирать эхтышалунью. Он знал, что хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться, — в других отраслях жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоровый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг...

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивала с уверенной быстротой, ловко поворачивалась, так что перехлест юбки обнажал ляжку, и затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным влиянием икр она тихо катилась обратным ходом. Вождедением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбегалась, стремительно стигая крупные колени), — или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать, — все равно что, но только бы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать — вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что вместо улыбки джентльменского привета ослабилась и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом ведении ко-

того он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и, приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сиденья розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей — мимо него — тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

«...Здоровье, конечно; а главное — прекрасная гимназия», — говорил далекий голос, как вдруг он заметил, что русокудрая голова слева безмолвно и низко наклонилась над его рукой.

«Вы потеряли стрелки», — сказала девочка.

«Нет, — ответил он, кашлянув, — это так устроено. Редкость».

Она левой рукой наперекрест (в правой торчала тартинка) задержала его кисть, рассматривая пустой, без центра, циферблат, под который стрелки были пущены снизу, выходя на свет только самыми остриями — в виде двух черных капель среди серебри-

стых цифр. Сморщенный листок дрожал у нее в волосах, у самой шеи, над нежным горбом позвонка, — и в течение ближайшей бессонницы он призрак листка все снимал, брал и снимал, двумя, тремя, потом всеми пальцами.

На другой день и в следующие он сидел там опять, по-любительски, но вполне сносно играя одинокого чудака: привычный часок, привычное место. Появления девочки, ее дыхание, ноги, волосы, все, что она делала, — чесала ли она голень, оставляя белые черты, бросала ли высоко в воздух черный мячик, касалась ли голым локтем, присаживаясь на скамейку, — отзывалось в нем (на вид поглощенном приятной беседой) невыносимым ощущением кровной, кожной, многососудной соединенности с ней, словно в ней пульсирующим пунктиром продолжалась чудовищная биссектриса, выкачивавшая из его глубины весь сок, или словно эта девочка из него вырастала, каждым беспечным движением дергая и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества, так что, когда она внезапно меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская хватка, как мгновенная потеря равновесия: вдруг едешь в пыли на спине, стучаясь теменем, — к по-

вешению наизворот. А между тем он спокойно сидел и слушал, и улыбался, и покачивал головой, и подтягивал на колене штанину, и тростью слегка ковырял гравий, и говорил: «Вот как?» или: «Да, знаете, бывает...» — но понимал слова собеседницы только тогда, когда девочки не было вблизи. Он узнал от этой вдумчивой болтуни, что с матерью девочки, сорокадвухлетней вдовой, она связана пятилетней симпатией — покойный спас честь ее мужа; что весной сего года эта вдова, долго перед тем болевшая, подверглась тяжелой операции кишечника; что, давно потеряв всех родных, она крепко ухватилась за дружеское предложение доброй четы; тогда же девочка переселилась к ним в провинцию, теперь привезли ее мать навестить, благо у мужа есть кляузное дельце в столице, но скоро пора возвращаться — чем скорее, тем лучше, так как присутствие дочки только раздражает редко порядочную, но несколько распустившуюся вдову.

«Слушайте, вы мне, кажется, говорили, что она распродает какую-то мебель?»

Этот вопрос (с продолжением) он составил ночью, задал вполголоса тикающей тишине и, убедившись в его звуковой натуральности, повторил его на другой день своей новой знакомой. Она ответила утвердительно

и без обиняков пояснила, что было бы неплохо, кабы та заработала, лечение стоило и будет стоить дорого, денег у больной в обрез, за содержание дочки непременно хотела платить, но делает это неаккуратно, — а мы люди небогатые, — словом, долг чести считался, видимо, уже погашенным.

«Дело в том, — продолжал он без запинки, — что мне как раз не хватает кое-чего в смысле обстановки. Полагаете ли вы, что будет и удобно, и прилично, если я...» — конца фразы он не помнил, но досочинил ее весьма ловко, уже свыкшись с вычурным стилем еще не совсем понятного многокольчатого сна, с которым он так смутно, но так плотно сплелся, что, например, не знал, чье это, что это — часть собственной ноги или часть спрута.

Она явно обрадовалась и предложила повести его туда хоть сейчас — квартира вдовы, где стояла и она с мужем, была неподалеку, за мостом электрической дороги.

Двинулись. Девочка шла впереди, сильно раскачивая холщовый мешок на шнуре, и уже все в ней было его глазам страшно, неутолимо знакомо — и выгиб узкой спины, и упругость двух кругленьких мышц пониже, и то, как именно натягивались клетки платья (второго, коричневого), когда она поднимала руку, и тонкость щиколоток,

и довольно высокие каблучки. Немножко замкнутая, пожалуй, живая скорее в движениях, чем в разговоре, не застенчивая, но и не бойкая, с подводной душой, кажется, но в светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине, любящая сладости, щенят, невинный монтаж киножурналов — и у таких, теплокожих, с рыжинкой, с раскрытыми губами, рано бывает первая уборка, — в общем, игра, кукольная кухня... И не очень счастливое детство, полусиротское — эта твердая женщина добра добротой горького шоколада, а не молочного, ласки в доме не держат, порядок, признаки утомления, дружеская услуга обернулась обузой... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови — все что угодно...

У дома они встретили небритого мужчину с портфелем — столь же разбитного и серого, как его жена, — так что громко вошли вчетвером. Он ожидал, что увидит изможденную больную в креслах, но вместо этого к нему вышла рослая, бледная, широкобокая дама с безволосой бородавкой у ноздри круглого носа — одно из тех лиц,

в описании коих ничего нельзя сказать о губах или глазах, потому что всякое о них упоминание — даже такое! — невольно противоречит их совершенной неприметности. Узнав, что это покупатель, она сразу повела его в столовую, объясняя на тихом и слегка наклоненном ходу, что ей четырех комнат много, что она зимой переедет в две и рада была бы отделаться от этого раздвижного стола, лишних стульев, того дивана в гостиной (когда дослужит ложем для ее друзей), большой этажерки и шкафчика. Он выразил желание ознакомиться с последним из этих предметов, оказавшимся в комнате, занимаемой девочкой, которую они застали валяющейся на кровати и глядящей в потолок — поднятые колени, обхваченные вытянутыми руками, сообщая качались, — «Слезь с постели, что это!» — и, поспешно затмив нежность кожи с исподу и клинышек тесных штанишек, она скатилась, а чего только я бы ей не разрешил... Он сказал, что шкафчик покупает — за право входа в дом плата была смехотворная, — и, вероятно, еще кое-что, — но надо сообразить, — если разрешите, я на днях опять загляну и потом уже пришлю за всем сразу, вот вам, между прочим, моя визитная карточка. Провожая его, она без улыбки (улыбалась, по-видимому, редко),

но вполне приветливо упомянула о том, что приятельница и дочка уже ей про него говорили и что муж приятельницы даже немножко ревнует. «Ну, положим, — сказал тот, выходя в переднюю, — я мою благоверную рад бы сбить всякому». — «А ты не зарекайся, — сказала жена, появляясь из той же комнаты, — когда-нибудь можешь заплакать!»

«Итак, милости просим, — повторила вдова, — я всегда дома, и, может быть, вас заинтересует лампа или коллекция трубок, это все отличные вещи — жалковато с ними расставаться, но ничего не поделаешь».

«А что же дальше?» — раздумывал он, возвращаясь к себе. До сих пор он действовал ощупью, едва соображая, следуя слепому побуждению, как шахматный игрок, пробирающийся и напираящий туда, где у противника что-то смутно висит или связано. Но дальше? Послезавтра мою душеньку увезут — значит, прямая выгода от знакомства с матушкой сейчас исключается, — но она приедет опять и, может быть, совсем останется, а к этому времени я буду желанным гостем, — но если та не проживет и года (как намекают), тогда все насмарку, — вид у нее, правда, не слишком дохлый, но если все-таки сляжет и умрет, тогда обстановка и условия жовиальных возмож-

ностей вдруг распадутся, тогда кончено, — где разыщу, под каким видом?.. А все-таки чувствовалось: так нужно, и лучше не соображать, а продолжать давить на слабый угол, и потому на другой день он отправился в парк с красивой коробочкой глазированных каштанов и фиалок в сахаре, девочке на дорогу, — рассудок ему твердил, что это лубок, глупость, что сейчас-то как раз и опасно ее отличать откровенным вниманием даже со стороны свободного чудака — тем более что до сих пор он — совершенно правильно — едва ее замечал (в скрывании молний был мастер), — вот гнилые старички, те — точно, всегда носят при себе карамель для заманивания девчонок, — а все-таки он семенил с подарком, слушаясь тайного побуждения, которое было талантливее рассудка.

Он целый час просидел на скамейке; они не пришли. Значит, уехали днем раньше. И хотя лишняя одна встреча с ней не могла бы никак облегчить образовавшееся за эту неделю совсем особое бремя, он испытал жгучую досаду, как если бы стал жертвой измены.

Продолжая не слушаться рассудка, говорившего, что он опять делает не то, он пошел к вдове и купил лампу. Видя, как он странно запыхался, она пригласила его сесть

и предложила папиросу. В поисках зажигалки он наткнулся на продолговатую коробку и сказал, как человек в книге:

«Это, быть может, вам покажется странным, мы так недавно знакомы, но все-таки позвольте презентовать вам этот пустяк — немножко конфет, кажется неплохих, — ваше согласие мне доставит большое удовольствие».

Она впервые улыбнулась — была, видимо, более польщена, чем удивлена, — и объяснила, что все лакомства в жизни ей запрещены, передаст дочке.

«Как! Я думал, что они сегодня...»

«Нет, завтра утром, — продолжала вдова, не без грусти трогая золотую перевязь. — Сегодня моя приятельница, которая страшно ее балует, повела ее на выставку рукоделий». И, вздохнув, она осторожно, как нечто бьющееся, отложила подарок на соседний столик, — а пресимпатичный гость спрашивал, что ей можно, чего нельзя, и слушал эпопею ее болезни, ссылаясь на варианты и весьма умно толкуя позднейшие искажения текста.

При третьем посещении (пришел предупредить, что перевозчик заедет не раньше пятницы) он пил у нее чай и в свою очередь рассказывал о себе, о своей чистой, изящной профессии. У них оказался общий знакомый: брат адвоката, скончавшегося в том же году, что ее муж. Рассудительно, без ложных сожалений, поговорила об этом муже — про которого он уже знал кое-что: был веселым малым, знатоком нотариальных дел, с женой ладил, но старался как можно реже бывать дома.

В четверг он купил диван и два стула, а в субботу зашел за ней, как было условлено, чтоб тихонько погулять в парке; но она скверно себя чувствовала, лежала с грелкой в постели, певуче говорила с ним через дверь, и он попросил угрюмую старуху, периодически появлявшуюся в доме для стряпни и ухода, сообщить ему по такому-то номеру, как больная провела ночь.

Так прошло еще несколько деятельных недель — журчания, вникания, улещивания,

интенсивной обработки чужого плавкого одиночества. Теперь он двигался к определенной цели, ибо еще тогда, сунув ей конфеты, вдруг понял, какую околицу молчаливо указывал ему странный перст без ногтя (эскиз на заборе) и в чем именно кроется настоящая, ослепительная возможность. Путь был неувлекательный, но и нетрудный, и достаточно было увидеть непонятно-небрежно брошенное еженедельное письмецо к матери с еще неустойчивым, по-жеребьячи расползающимся почерком, чтобы справиться с любого рода сомнением. Стороной он знал, что она собрала о нем справки, которыми не могла не остаться довольна: чего стоил хотя бы корректный банковский счет. Поэтому же, с каким религиозным понижением голоса она ему показывала старые твердые фотографии, где в разных, более или менее выгодных, позах была снята девушка в ботинках, с круглым приятным лицом, полненьким бюстом и зачесанными со лба волосами (а также свадебные, где неизменно присутствовал жених, весело удивленный, со странно знакомым разрезом глаз), он догадывался, что она тайком обращалась к бледному зеркалу прошлого, чтобы выяснить, чем же могла *теперь* заслужить мужское внимание, — и, должно быть, решила, что зоркому зрению, оценщику гра-

ней и игры, все видны следы ее былой миловидности (ею, впрочем, преувеличенной) и станут еще видней после этих обратных смотрин. Чашке чаю, наливаемой ему, она придавала деликатную индивидуальность; в подробнейшие рассказы о своих разнообразных недомоганиях ухитрялась вносить столько романтизма, что подмывало спросить что-нибудь грубое; и подчас будто задумывалась, догоняя запоздалым вопросом его крадущуюся речь. Ему было и жалко ее, и противно, но, понимая, что материал, помимо своего назначения, просто не существует, он упрямо продолжал работу, которая сама по себе требовала такой пристальности, что физический облик этой женщины растворился, пропал (если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы) и по отсутствию был кое-как заменен формальными чертами отвлеченной невесты на примелькавшихся снимках (так что все-таки она не ошиблась в своем бедном расчете). Работа спорилась — и когда в конце осени, дождливым вечером, она безучастно, без единого женского совета, выслушала его неопределенные жалобы на томление холостяка, с завистью глядящего на фрак и дымку чужого венчания и невольно думающего об одинокой могиле в конце одинокого пути, он убедился, что

можно звать упаковщиков, — но пока что вздохнул и переменял течение разговора, а через день каково было ее удивление, когда их молчаливое чаепитие (он раза два подходил к окну, словно в каком-то раздумье) было прервано могучим звонком мебельного перевозчика, и вернулись домой два стула, диван, лампа, шкафчик: так решающий задачу сперва отводит иное число, чтоб было сподручнее с нею справиться, и затем возвращает его в лоно решения.

«Вы непонятливы. Это просто значит, что у супругов имущество общее. Другими словами, я предлагаю вам содержимость манжеты и живой туз червей».

Тут же около ходили два мужика, вносивших вещи, и она целомудренно отступила в другую комнату.

«Знаете что, — сказала она, — пойдите и хорошенько выспитесь».

Он, посмеиваясь, хотел взять ее руку в свои, но она заложила ее за спину и упрямо повторяла, что все это вздор.

«Хорошо, — ответил он, вынув горсть монет и отсчитывая на ладони чаевые. — Хорошо, я удалюсь, но в случае вашего согласия извольте мне дать знать, а иначе можете не беспокоиться — от моего присутствия я вас избавлю навеки».

«Обождите. Пускай они сначала уйдут. Вы избираете странные минуты для таких разговоров».

«Теперь сядем и потолкуем, — через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван (а он с нею рядом, в профиль, подложив под себя ногу и держа себя сбоку за шнурок башмака). — Прежде всего... Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя, — иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах нет, не отмахивайтесь... Предположим даже, что я протяну еще несколько лет, — что может измениться? Я до гроба приговорена ко всем мукам адовой диеты, и единственное, что занимает меня, это мой желудок, мои нервы; характер мой безнадежно испорчен: когда-то была хохотушкой... но, впрочем, всегда относилась требовательно к людям, — а теперь я требовательна ко всему: к вещам, к соседской собаке, ко всякой минуте существования, которая не так служит мне, как хочу. Вам известно... я была семь лет замужем — особого счастья не запомнилось; я дурная мать, но сама с этим примирилась,

твердо зная, что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки; причем глупо, болезненно завидую ее мускулистым ножкам, румянцу, пищеварению. Я бедна: одну половину моей ренты съедает болезнь, другую — долги. Даже если и допустить, что вы по характеру, по чуткости... ну, словом, по разным чертам в мужья *мне* годитесь, — видите, я делаю ударение на „*мне*“, — то каково будет вам с такой женой? Душой-то я, может быть, и молода, ну и внешностью еще не вовсе монстр, но не наскучит ли вам возиться с привередницей, никогда-никогда ей не перечить, соблюдать *ее* привычки, *ее* причуды, *ее* посты и правила, а все ради чего? — ради того, чтобы, может быть, через полгода остаться вдовцом с чужим ребенком на руках!»

«Посему заключаю, — сказал он, — что мое предложение принято».

И он вытряхнул на ладонь из замшевого мешочка чудный неотшлифованный камешек, как бы освещенный снутри розовым огнем сквозь винную синеватость.

Она приехала за два дня до свадьбы, с пламенными щеками, в незастегнутом синем пальто с болтающимися сзади концами пояса, в шерстяных носках почти до колен, в берете на мокрых кудрях. «Стоило, стоило, стоило», — повторял он мысленно, держа ее холодную красную ручку и с улыбкой морщась от воплей ее неизбежной спутницы: «Это я жениха нашла, это я жениха привела, жених — мой!» — (и вот, с ухватками орудейной прислуги, попыталась закружить неповоротливую невесту). Стоило, да, сколько бы времени ни пришлось тащить сквозь невылазный брак эту машину — стоило, переживи она всех, стоило, ради естественности его присутствия здесь и ласковых прав будущего отчима.

Но правами этими он еще не умел пользоваться — отчасти с непривычки, отчасти от опасливого ожидания неимоверно большей свободы, главное же, потому, что ему никак не удавалось побыть с этой девочкой наедине. Правда, с разрешения матери он

повел ее в ближнюю кофейню, и сидел, и смотрел, опираясь на трость, как она въедается в абрикосовый край плетеного пирожного, подаваясь вперед, выпячивая нижнюю губу, дабы подхватить липкие листики, и старался ее смешить, говорить с ней так, как умел говорить с детьми обыкновенными, но все тормозила поперек лежавшая мысль, что, будь помещение безлюднее да уголковатее, он без особого предлога слегка потискал бы ее, не боясь чужих взглядов, более прозорливых, чем ее доверчивая чистота. Ведя ее домой, не поспевая за ней на лестнице, он мучился не только чувством упущенного; он мучился еще тем, что, пока хоть раз не сделал того-то и того-то, не может положиться на обещания судьбы в невинных речах, в тонких оттенках ее детской толковости и молчания (когда из-под внимающей губы зубы нежно опирались на задумчивую), в медленном образовании ямок при старых шутках, поражающих новизной, в чуемых излучинах ее подземных ручьев (без них не было бы этих глаз). Пусть в будущем свобода действий, свобода особого и его повторений, все осветит и согласует; пока, сейчас, сегодня опечатка желания искажала смысл любви; оно служило, это темное место, как бы помехой, которую надо было как можно скорее раздавить, сте-

реть, — любым подлогом наслаждения, — чтобы в награду получить возможность смеяться вместе с ребенком, понявшим наконец шутку, бескорыстно печясь о нем, волну отцовства совмещать с волной влюбленности. Да, подлог, утайка, боязнь легчайшего подозрения, жалоб, доноса невинности (знаешь, мама, когда никого нет, он непременно начинает ласкаться), необходимость быть настороже, чтобы не попасться случайному охотнику в этих густонаселенных долинах, — вот что сейчас мучило и вот чего не будет в заповеднике, на свободе. «Но когда, когда?» — в отчаянии думал он, расхаживая по своим тихим, привычным комнатам.

На другое утро он сопровождал свою страшную невесту в какое-то присутственное место, откуда она собралась к врачу, которому, по-видимому, хотела задать кое-какие щекотливые вопросы, ибо велела жениху отправиться к ней на квартиру и там ее ждать через час к обеду. Отчаяние ночи забылось. Он знал, что приятельница тоже в бегах (муж вообще не приехал), — и предвкушение того, что он девочку застанет одну, кокаином таяло у него в чреслах. Но когда он домчался, то нашел ее болтающей с уборщицей в розе сквозняков. Он взял газету от тридцать второго числа и, не видя

строк, долго сидел в уже отработанной гостининой, и слушал оживленный за стеной разговор в промежутках пылесосного воя, и посматривал на эмаль часов, убивая уборщицу, отсылая труп на Борнео, а тем временем он различил третий голос и вспомнил, что еще есть старуха на кухне; ему будто послышалось, что девочку послали в лавку. Потом пылесос отсопел и был выключен, где-то стукнули оконные рамы, уличный шум замолк. Выждав еще с минуту, он встал и, вполголоса напевая, с бегаящими глазами, стал обходить притихшую квартиру. Нет, никуда не послали — стояла у окна в своей комнате и смотрела на улицу, приложив ладони к стеклу; оглянувшись и быстро сказала, тряхнув волосами и уже опять принимаясь наблюдать: «Смотрите: столкновение!» Он подступал, подступал, затылком чувствуя, что дверь сама затворилась, подступал к ее гибко вдавленной спине, к сборкам у талии, к ромбовидным клеткам уже за сажень осязаемой материи, к плотным голубым жилкам над уровнем полчулок, к лоснящейся от бокового света белизне шеи около коричневых кудрей, которыми она опять сильно тряхнула: семь восьмых привычки, осьмушка кокетства. «Ага, столкновение, злоключение...» — бормотал он, как бы глядя в пус-

тое окно поверх ее темени, но лишь видя перхотинки в шелку завоя. «Красный виноват!» — воскликнула она убежденно. «Ага, красный... подайте сюда красного...» — продолжал он бессвязно, и, стоя за ней, обмирая, скрадывая последний дюйм тающего расстояния, он взял ее сзади за руки и принялся их бессмысленно раздвигать, подтягивать, и она только чуть вертела косточкой правой кисти, машинально стремясь пальцем указать ему на виноватого. «Постой, — сказал он хрипло, — придвинь локти к бокам, посмотрим, могу ли, могу ли тебя приподнять». В это время стукнуло в прихожей, раздался зловещий макинтошный шорох, и он с неловкой внезапностью отошел от нее, засовывая руки в карманы, покашливая, рыча, начиная громко говорить: «...Наконец-то! Мы тут голодаем...» — и когда садились за стол, у него все еще ныла неудовлетворенная тоскливая слабость в икрах.

После обеда пришло несколько кофейниц — и под вечер, когда гости схлынули, а приятельница деликатно ушла в кинематограф, хозяйка в изнеможении вытянулась на кушетке.

«Уходите, друг мой, домой, — проговорила она, не поднимая век. — У вас, должно быть, дела, ничего, верно, не уложено, а я хочу лечь, иначе завтра ни на что не буду годиться».

Он клюнул ее в холодный, как творог, лоб, коротким мычанием симулируя нежность, и затем сказал:

«Между прочим... я все думаю: жалко девчонку! Предлагаю все-таки оставить ее тут — что ей, в самом деле, продолжать обретаться у чужих — ведь это даже нелепо — теперь-то, когда снова образовалась семья. Подумайте-ка хорошенько, дорогая».

«И все-таки я отправлю ее завтра», — протянула она слабым голосом, не раскрывая глаз.

«Но поймите, — продолжал он тише — ибо ужинавшая на кухне девочка, кажется, кончила и где-то теплилась поблизости, — поймите, что я хочу сказать: отлично — мы им все заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы скажете, — (она молчала), — но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние уроки. А главное... видите ли, у людей может создаться впечатление — ведь один намёчек в этом роде уже был нынче, — что, несмотря на изменившееся положение, то есть когда у вас есть моя всяческая поддержка и можно взять бóльшую квартиру — совсем отгородиться и так далее, — мать и отчим все-таки не прочь забросить девчонку».

Она молчала.

«Делайте, конечно, как хотите», — проговорил он нервно, испуганный ее молчанием (зашел слишком далеко!).

«Я вам уже говорила, — протянула она с той же дурацкой страдальческой тихостью, — что для меня главное — мой покой. Если он будет нарушен, я умру... Вот, она там шаркнула или стукнула чем-то — негромко, правда? — а у меня уже судорога, в глазах рябит, — а дитя не может не стучать, и если будет двадцать пять комнат, то будет стук во всех двадцати пяти. Вот, значит, и выбирайте между мною и ею».

«Что вы, что вы! — воскликнул он с паническим заскоком в гортани. — Какой там выбор... Бог с вами! Я это только так — теоретические соображения. Вы правы. Тем более что я сам ценю тишину. Да! Стою за статус-кво — а кругом пускай квакают. Вы правы, дорогая. Конечно, я не говорю... может быть, впоследствии, может быть, там, весной... Если вы будете совсем здоровы...»

«Я никогда не буду совсем здорова», — тихо ответила она, приподнимаясь и со скрипом переваливаясь на бок, после чего подперла кулаком щеку и, качая головой, глядя в сторону, повторила эту фразу.

И на следующий день, после гражданской церемонии и в меру праздничного обе-

да, девочка уехала, дважды при всех коснувшись его бритой щеки медленными, свежими губами: раз — поздравительно, над бокалом, и раз — на прощание, в дверях. Затем он перевез свои чемоданы и долго раскладывался в бывшей ее комнате, где в нижнем ящике нашел какую-то ее тряпочку, больше сказавшую ему, чем те два неполных поцелуя.

Судя по тому, каким тоном его особа (называть ее женой было невозможно) подчеркнула, насколько вообще удобнее спать в разных комнатах (он не спорил) и как, в частности, она привыкла спать одна (пропустил), он не мог не заключить, что в ближайшую же ночь от него ожидается первое нарушение этой привычки. По мере того как сгущалась за окном темнота и становилось все глупее сидеть рядом с ее кушеткой в гостиной и молча пожимать или подносить и прилаживать к своей напряженной скуле ее угрожающе покорную руку в сизых веснушках по глянцевитому тылу, он все яснее понимал, что срок платежа подошел, что теперь уже неотвратимо то самое, наступление чего он, конечно, давно предвидел, но — так, не вдумываясь, придет время, как-нибудь справлюсь, — а время уже стучалось, и было совершенно очевидно, что ему (маленькому Гулливеру) физи-

чески невозможно приступить к этому ширококостному, многостремнинному, в громоздком бархате, с бесформенными лодыгами и ужасной косинкой в строении тяжелого таза — не говоря о кислой духоте увядшей кожи и еще не известных чудесах хирургии — тут воображение повисало на колючей проволоке.

Еще за обедом, отказываясь, словно нерешительно, от второго бокала и словно уступая соблазну, он на всякий случай ей объяснил, что в минуты подъема подвержен различным угловым болям, так что теперь он постепенно стал отпускать ее руку и, довольно грубо изображая дерганье в виске, сказал, что выйдет проветриться. «Понимаете, — добавил он, заметив, с каким странным вниманием (или это мне кажется?) уставились на него ее два глаза и бородавка, — понимаете, счастье мне так ново... ваша близость... эх, никогда ведь не смел мечтать о такой супруге...»

«Только не надолго. Я ложусь рано... и не люблю, чтоб меня будили», — ответила она, спустив свежеефрированную прическу и ногтем постукивая по верхней пуговице его жилета; потом слегка его оттолкнула — и он понял, что приглашение неотклонимо.

Теперь он бродил в дрожащей нищете ноябрьской ночи, в тумане улиц, с потоп

впавших в состояние мороси, и, стараясь отвлечься, принуждал себя думать о счетах, о призмах, о своей профессии, искусственно увеличивал ее значение в своем существовании — и все расплывалось в слякоти, в ознобе ночи, в агонии изогнутых огней. Но именно потому, что сейчас не могло быть и речи о каком-либо счастье, прояснилось вдруг что-то другое: он с точностью измерил пройденный путь, оценил всю непрочность, всю призрачность проектов, все это тихое помешательство, очевидную ошибку наваждения, которое отступило от своего единственно законного естества, свободного и действительного только в цветущем урочище воображения, чтобы с жалкой серьезностью лунатика, калеки, тупого ребенка (ведь сейчас одернут и взгреют) заниматься планами и действиями, подлежащими компетенции лишь взрослой вещественной жизни. А еще можно было выкрутиться! Вот сейчас бежать — и скорее письмо к особе с изложением того, что сожителство для него невозможно (любые причины), что только из чудаковатого сострадания (развить) он взялся ее содержать, а теперь, узаконив сие навсегда (точнее), удаляется опять в свою сказочную неизвестность. «А между тем, — продолжал он мысленно, полагая, что все еще следует тому же порядку трезвых

соображений (и не замечая, что изгнанная босоножка вернулась с черного хода), — как было бы просто, если бы матушка завтра умерла — да ведь нет, ей не к спеху — вцепилась зубами в жизнь, будет виснуть — а какой мне в том прок, что умрет с запозданием и придет ее хоронить шестнадцатилетняя недотрога или двадцатилетняя незнакомка? Как было бы просто, — (размышлял он, задержавшись весьма кстати у освещенной витрины аптеки), — коли был бы яд под рукой... Да много ли нужно, когда для нее чашка шоколада равносильна стрихнину! Но отравитель оставляет в спущенном лифте свой пепел... а ее непременно ведь вскрыют, по привычке вскрывать...»; и хотя рассудок и совесть наперебой твердили (немножко подзадоривая), что — все равно, даже если бы нашлось незаметное зелье, он не решился бы на убийство (разве что если совсем, совсем бесследное, да и то — в крайнем случае, да и то — лишь с целью сократить страдания все равно обреченной *жены*), он давал волю теоретическому развитию невозможной мысли, наталкиваясь рассеянным взглядом на идеально упакованные флаконы, на модель печени, на паноптикум мыл, на взаимную дивно-коралловую улыбку женской головки и мужской, благодарно глядящих друг на друг

ку, — потом прищурился, кашлянул — и после минутного колебания быстро вошел в аптеку.

Когда он вернулся домой, в квартире было темно — шмыгнула надежда, что она уже спит, но, увы, дверь ее спальни была по линейке подчеркнута остро отточенным светом.

«Шарлатаны... — подумал он, мрачно пожимаясь, — что ж, придется держаться первоначальной версии. Пожелаю покойнице ночи — и на боковую». (А завтра? А послезавтра? А вообще?)

Но посреди прощальных речей о мигрени, у пышного изголовья, вдруг, ни с того ни с сего и само по себе, положение круто переменилось, предмет же был несущественен, так что потом удивительно было найти труп чудом поверженной великанши и взирать на муаровый нательный пояс, почти совсем закрывавший шрам.

Последнее время она чувствовала себя сносно (донимала только отрыжка), но в первые же дни брака тихонько возобновились боли, знакомые ей по прошлой зиме. Не без поэзии она предположила, что больной, ворчливый орган, задремавший было в тепле постоянного пестования, «как старая собака», теперь приревновал к сердцу, к новичку, которого «погладили один раз». Как бы то ни было, она с месяц пролежала

в постели, прислушиваясь к этой внутренней возне, пробному царапанию, осторожным укусам; потом стихло — она даже встала, копалась в письмах первого мужа, кое-что сожгла, разбирала какие-то страшно старенькие вещицы — детский наперсток, чешуйчатый кошелек матери, еще что-то золотое, тонкое — как время, текучее. Под Рождество ей сделалось опять плохо, и ничего не вышло из предполагавшегося приезда дочки.

Он выказывал ей неизменную заботливость; он утешительно мычал, с ненавистью принимая от нее неловкую ласку, когда она, бывало, с ужимками старалась объяснить, что не она, а оно (мизинцем на живот) виновато в их ночном разъединении, — и все это так звучало, точно она беременна (ложно беременна своей же смертью). Всегда ровный, всегда подтянутый, он соблюдал плавный тон, что усвоил сначала, и она была ему благодарна за все — за старомодную галантность обращения, за это «вы», казавшееся ей собственным достоинством нежности, за исполнение прихотей, за новую радиолу, за то, что он безропотно согласился дважды переменить сиделку, нанятую для постоянного ухода за ней.

По пустякам она не отпускала его от себя дальше углов комнаты, а когда он шел

по делу, то совместно разрабатывал наперед точный предел отлучки, и так как его ремесло не требовало определенных часов, то всякий раз приходилось — весело, скрипя зубами, — бороться за каждую крупицу времени. В нем корчилась бессильная злоба; его душил прах рассыпавшихся комбинаций, но ему так надоело торопить ее смерть, так опошлилась в нем эта надежда, что он предпочитал заискивать перед противоположной: может быть, к лету настолько оправится, что разрешит девочку увезти к морю на несколько дней. Но как подготовить? Еще в начале ему казалось, что будет легко как-нибудь, под видом деловой поездки, махнуть в тот городок с черной церковью и с садами, отраженными в реке, но когда он рассказал, что — вот какой случай, мне, может быть, удастся посетить вашу дочку, если придется съездить туда-то (назвал соседний город), ему почудилось, что какой-то смутный, почти бессознательный ревнивый уголек вдруг оживил ее дотоле не существовавшие глаза, — и, поспешно замяв разговор, он удовольствовался тем, что, видимо, она сама тотчас забыла идиотски-интуитивное чувство — которое, уж конечно, нечего было опять возбуждать.

Постоянство колебаний в состоянии ее здоровья представлялось ему самой меха-

ником ее существования; постоянство их становилось постоянством жизни; со своей же стороны он замечал, что вот уже на его делах, на точности глаза и граненой прозрачности заключений начинает дурно отражаться постоянное качание души между отчаянием и надеждой, вечная зыбь неудовлетворенности, болезненный груз скрученной и спрятанной страсти — вся та дикая, душная жизнь, которую он сам, сам себе устроил.

Случалось, он проходил мимо игравших девочек, случалось, миленькая бросалась ему в глаза, но бросалась она бессмысленно плавным движением замедленной фильмы, и он сам изумлялся тому, до чего неотзывчив, до чего *занят*, с какой определенностью стянулись наверхованные отовсюду чувства — тоска, жадность, нежность, безумие — к образу той совершенно единственной и незаменимой, которая проносилась тут в раздираемом солнцем и тенью платье. И случалось, ночью, когда все стихало — и радиола, и вода в уборной, и белые шажки сиделки, и тот бесконечно задержанный звук (хуже любого грохота!), с которым она затворяла двери, и осторожный звон ложечки, и трык-трык аптечки, и отдаленная загробная жалоба особы, — когда все это окончательно стихало, он ложился навзничь и вы-

зывал единственный образ, и, восемью руками оплетая улыбающуюся добычу, осмью щупальцами присасываясь к ее подробной нагоде, наконец исходил черным туманом и терял ее в черноте, а черное расползлось сплошь, да всего лишь было чернотой ночи в его одинокой спальне.

Весной ей как будто сделалось хуже, и после консилиума ее перевезли в госпиталь. Там, накануне операции, она ему с достаточной, несмотря на страдания, отчетливостью говорила о завещании, о поверенном, о том, что необходимо сделать, если она завтра... и дважды, дважды заставила его поклясться, что он будет как о собственной... и чтобы та не сердилась, не сердилась на покойную мать. «Может быть, все-таки ее вызвать, — сказал он громче, чем хотел, — а?» Но она уже все выложила, зажмурилась в муке, и, постояв у окна, он вздохнул, поцеловал ее в желтый кулак, сжатый на отвороте простыни, и вышел.

Рано утром ему позвонил один из больничных врачей, чтобы сообщить, что ее только что оперировали, что успех, кажется, полный, превзошедший все надежды хирурга, но что до завтра ее лучше не навещать.

«Ах, успех, ах, полный, — бессмысленно бормотал он, устремляясь из комнаты в комнату, — ах, как мило... поздравьте нас, будем

поправляться, будем цвести... Что это такое! — вдруг вскрикнул он горловым голо- сом, так ахнув дверью клозета, что из сто- ловой откликнулся испуганный хрусталь. — Ну, посмотрим, — продолжал он среди па- ники стульев, — посмотрим... Я вам покажу успех! Успех, успех, — передразнил он про- изношение соплявой судьбы, — ах, прелест- но! Будем жить-поживать, дочку выдадим раненько, ничего, что хрупка, зато муж — здоровяк, да как всадит нахрапом в хрупь... Нет, господа, довольно! Это издевка! Я то- же имею право голоса! Я...» — И вдруг его блуждающее бешенство натолкнулось на не- ожидавшую добычу.

Он замер, шевеление пальцев прекрати- лось, глаза на минуту закатились — а вер- нулся он из этого краткого столбняка с улыбкой. «Довольно, господа», — повторил он, но уже совсем с другим, почти вкрад- чивым выражением.

Немедленно он навел нужную справку: был весьма удобный экспресс в 12.23... при- бывающий ровно в 16.00. С обратным со- общением обстояло хуже... придется нанять там машину, сразу назад, к ночи мы будем тут — вдвоем, совершенно взаперти, с уста- ленькой, сонненькой, скорей раздеваться, я буду тебя баюкать — только это... только уют — какая там каторга (хотя, между про-

чим, лучше сейчас каторга, чем поганец в будущем)... тишина, голые ключицы, бридочки, пуговики сзади, лисий шелк между лопаток, зевота, горячие подмышки, ноги, нежности — не терять головы, — но чего, впрочем, естественнее, что привез маленькую падчерицу — что все-таки решил это сделать, — режут мать, ответственность, усердие, сама же просила «заботиться» — и пока мать спокойно лежит в больнице, что может быть, повторяем, естественнее, что здесь, где кому ж моя душенька помешает... и вместе с тем, знаете, — под боком, мало ли что, надо быть ко всему... ах, успех? тем лучше — выздоравливающие добреют, а если все-таки изволите гневаться — объясним, объясним: хотели сделать лучше — ну, может быть, немножко растерялись, признаемся, но с самыми лучшими... И, радостно торопясь, он у себя (в *ее* бывшей комнате) перестелил постель, навел беглый порядок, принял ванну, отменил деловое свидание, отменил уборщицу, быстро закурил в своем «холостом» ресторане, накупил фиников, ветчины, пеклеванного, сбитых сливок, мускатного винограда — чего еще? — и, вернувшись домой, разваливаясь на пакеты, все видел, как она вот тут пройдет, как там сядет, отведя назад тонкие обнаженные руки, пружинисто опираясь сзади

себя, кудрявая, томненькая, и тут позвонили из больницы, прося его все-таки заглянуть, и когда по пути на вокзал он нехотя заехал, то узнал, что особа кончилась.

Прежде всего охватила яростная досада: значит, план провалился, это близкое, теплое, ночное отнято у него, и когда она явится, вызванная телеграммой, то, конечно, вместе с той выдрой и мужем выдры, которые и вселятся на недельку. Но именно потому, что первое его движение было таким, силой этого близорукого порыва образовалась пустота, ибо не могла же досада на (случайно помешавшую) смерть сразу перейти в благодарность за нее (основному року). Пустота между тем заполнялась предварительным серо-человеческим содержанием: сидя на скамье в больничном саду, успокаиваясь, готовясь к различным хлопотам, связанным с техникой похоронного положения, он с приличной печалью пересматривал в мыслях то, что видел только что воочию: отполированный лоб, прозрачные крылья ноздрей с жемчужиной сбоку, эбеновый крест — всю эту ювелирную работу смерти, — между прочим презрительно дунул на хирургию и стал думать о том, что все-таки ей было здорово хорошо под его опекой, что он походя дал ей настоящее счастье, скрасившее последние месяцы ее

прозябания, а отсюда уже был естественен переход к признанию за умницей-судьбой прекрасного поведения и к первому сладкому содроганию крови: бирюк надевал чепец.

Он ожидал, что они приедут на другой день к завтраку, — и действительно — звонок... но приятельница покойной особы стояла на пороге одна (протягивая костлявые руки и недобросовестно пользуясь сильным насморком для нужд наглядного соболезнования): ни муж, ни «сиротка», оба лежавшие с гриппом, не могли приехать. Его разочарование сгладилось мыслью, что так правильно — не надо портить: присутствие девочки в этом сочетании траурных помех было бы столь же мучительно, как был ее приезд на свадьбу, и гораздо разумнее в течение ближайших дней покончить со всеми формальностями и основательно подготовить отчетливый прыжок в полную безопасность. Раздражало только, что «оба»: связь болезни (словно в одной постели), связь заразы (может быть, этот пошляк, поднимаясь за ней по крутой лестнице, любил лапать за голые ляжки). Изображая совершенное оцепенение — что было проще всего, как знают и уголовные, — он сидел одеревеневшим вдовцом, опустив увеличившиеся руки, чуть шевеля губами

в ответ на совет облегчить запор горя слезами, и смотрел мутным глазом, как она сморкается (тройственный союз — это лучше), и когда, рассеянно, но жадно занимаясь ветчиной, она говорила такие вещи, как: «По крайней мере, не долго страдала» или: «Слава богу, что в беспамятстве», сгущенно подразумевая, что страдания и сон суть естественный удел человека и что у червей добрые личики, а что главное плавание на спине происходит в блаженной стратосфере, он едва не ответил ей, что сама по себе смерть всегда была и будет похабной дурой, да вовремя сообразил, что его утешительница может неприятно усомниться в его способности дать отроковице религиозно-нравственное воспитание.

На похоронах народу было совсем мало (но почему-то явился один из его прежних полуприятелей — золотых дел мастер с женой), и потом, в обратном автомобиле, полная дама (бывшая также на его шутовской свадьбе) говорила ему, участливо, но и внушительно (он сидел, головы не поднимая — голова от езды колебалась), что теперь-то, по крайней мере, ненормальное положение ребенка должно измениться (приятельница бывшей особы притворялась, что смотрит на улицу) и что в отеческой заботе он непременно найдет должное утешение, а дру-

гая (бесконечно отдаленная родственница покойной) вмешалась и сказала: «Девчонка-то прехорошенькая! Придется вам смотреть в оба — и так уже не по летам крупненькая, а годика через три так и будут липнуть молодые люди — забот не оберетесь», — и он про себя хохотал, хохотал на пуховиках счастья.

Накануне, в ответ на новую телеграмму («Беспокоюсь как здоровье целую» — причем этот вписанный в бланк поцелуй был уже первым настоящим) пришло сообщение, что у обоих жар спал, и перед отъездом восвояси все еще сморкавшаяся женщина спросила, показывая шкатулку, может ли она взять это для девочки (какие-то материнские мелочи заветной давности), а затем поинтересовалась, как и что будет дальше. Только тогда, крайне замедленным голосом, точно каждый слог был преодолением скорбной немоты, с паузами и без всякого выражения, он ей доложил, как и что будет, поблагодарил за годовой присмотр и предупредил, что ровно через две недели он заедет за дочерью (так и вымолвил), чтобы взять ее с собой на юг, а оттуда, вероятно, за границу. «Да, это мудро, — ответила та с облегчением (слегка разбавленным, будем надеяться, мыслью, что последнее время она на питомице, вероятно,

подрабатывала). — Поезжайте, рассейтесь, ничто так не врачует горя».

Эти две недели были ему нужны для устройства своих дел — с таким расчетом, чтобы по крайней мере год не думать о них, — а там будет видно. Пришлось продать кое-что из собственных экземпляров. А укладываясь, он случайно нашел в столе некогда подобранную монету (между прочим, оказавшуюся фальшивой) и усмехнулся: талисман уже отслужил.

Когда он сел в поезд, послезавтрашний адрес все еще был как берег в тумане зноя, предварительный символ будущей анонимности; он всего лишь наметил, где, по пути на этот мерцающий юг, заночуют, но не считал нужным предрешать дальнейшее новоселье. Все равно где — место красит босая ножка; все равно куда — только бы унести — и потеряться в лазури. Грифы столбов пролетали со спазмами гортанной музыки. Дрожь в перегородках вагона была как треск мощно топорщившихся крыл. Будем жить далеко, то на холмах, то у моря, в оранжевом тепле, где обыкновение дикарской оголенности установится само собой, совсем одни (без прислуги!), не выдаясь ни с кем, вдвоем в вечной детской, что уже окончательно добьет стыдливость; при этом — постоянное веселье, шалости, утренние поцелуи, возня на общей постели, большая губка, плачущая над четырьмя плечами, прыщущая от смеха между четырех ног, — и он думал, блаженствуя на внутреннем припе-

ке, о сладком союзе умышленного и случайного, о ее эдемских открытиях, о том, сколь естественными и зараз особыми, нашенскими ей будут вблизи казаться смешные приметы разнополых тел — меж тем как дифференциалы изысканнейшей страсти долго останутся для нее лишь азбукой невинных нежностей; ее будут тешить только картинки (ручной великан, сказочный лес, мешок с кладом) да забавные последствия любознательных прикосновений к игрушке со знакомым, никогда не скучным фокусом. Он был убежден, что, пока новизна довлеет себе и еще не озирается, будет легко при помощи прозвищ и шуток, утверждающих бесцельную, в сущности, простоту данных оригинальностей, заранее отвлечь нормальную девочку от сопоставлений, обобщений, вопросов, на которые что-нибудь подслушанное прежде, или сон, или первые сроки могли бы ее подтолкнуть, так что из мира полуотвлеченностей, ей, вероятно, полуизвестных (вроде правильного толкования самостоятельного живота соседки, вроде школьных пристрастий к морде модного комедианта), от всего как-либо связанного со взрослой любовью будет пока что изъят переход к привычной действительности милых развлечений, а пристойность, мораль не заглянут сюда по незнанию порядков и адреса.

Система подъемных мостов хороша до тех пор, покамест цветущая пропасть сама не дотянет крепкой молодой ветви до светлицы; но именно потому, что в первые, скажем, два года пленнице будет неведома временно вредная для нее связь между куклой в руках и одышкой пуппенмейстера, между сливой во рту и восторгом далекого дерева, придется быть сугубо осторожным, не отпускать ее никуда одну, почаще менять местожительство (идеал — миниатюрная вилла в слепом саду), зорко смотреть за тем, чтобы не было у нее ни знакомств с другими детьми, ни случая разговориться с фруктощицей или поденщицей — ибо мало ли какой вольный эльф может слететь с уст волшебной невинности — и какое чудовище чужой слух понесет к мудрецам для рассмотрения и обсуждения. А вместе с тем, в чем упрекнуть волшебника? Он знал, что найдет в ней достаточно утех, чтобы не расколдовать ее слишком рано, ничего в ней не отличать слишком явным вниманием неги; играя в прогулку капуцина, не слишком упираться в иной тупичок; он знал, что не посягнет на ее девственность в самом тесном и розовом смысле слова, пока эволюция ласк не перейдет незаметной ступени, — дотерпит до того утра, когда она сама, еще смеясь, прислушается к собственной отзыв-

чивости и, уже молча, потребует совместных поисков струны.

Воображая дальнейшие годы, он все видел ее подростком: таков был плотский постулат; зато, ловя себя на этой предпосылке, он понимал без труда, что если мыслимое течение времени и противоречит сейчас бессрочной основе чувств, то постепенность очередных очарований послужит естественным продолжением договора со счастьем, принявшим в расчет и гибкость живой любви; что на свете этого счастья, как бы она ни повзрослела — в семнадцать лет, в двадцать, — ее сегодняшний образ всегда будет сквозить в ее метаморфозах, питая их прозрачные слои своим внутренним ключом; и что именно это позволит ему, без урона или утраты, насладиться чистым уровнем каждой из ее перемен. Она же сама, уточнившись и удлинившись в женщину, уже никогда не будет вольна отделить в сознании и памяти свое развитие от развития любви, воспоминания детства от воспоминаний мужской нежности — вследствие чего прошлое, настоящее, будущее представятся ей единым сиянием, источник коего, как и ее самое, излучил он, живородящий любовник.

Так они будут жить — и смеяться, и читать книги, и дивиться светящимся мухам,

и говорить о цветущей темнице мира, и он будет рассказывать, и она будет слушать, маленькая Корделия, и море поблизости будет дышать под луной — и чрезвычайно медленно, сначала всей чуткостью губ, затем всей их тяжестью, вплотную, все глубже, только так, в первый раз, в твое воспаленное сердце, так, пробиваясь, так, погружаясь, между его тающих краев...

Дама, сидящая напротив, почему-то вдруг поднялась и перешла в другое отделение; он посмотрел на пустые свои часики — теперь уже скоро, — и вот он уже поднимался вдоль белой стены, увенчанной ослепительными осколками; летало множество ласточек — а встретившая его на крыльце приятельница покойной особы объяснила ему присутствие груды золы и обугленных бревен в углу сада тем, что ночью случился пожар — пожарные не сразу справились с летящим пламенем, сломали молодую яблоню, и, конечно, никто не выспался. В это время вышла она, в темном вязаном платье (в такую жару!), с блестящим кожаным пояском и цепочкой на шее, в длинных черных чулках, бледненькая, и в самую первую минуту ему показалось, что она слегка подурнела, стала курносее и голенастее, — и хмуро, быстро, с одним только чувством острой нежности к ее трауру, он взял ее за

плечо и поцеловал в теплые волосы. «Все могло вспыхнуть», — воскликнула она, подняв розово-озаренное лицо с тенью листьев на лбу и тараща глаза, прозрачно-жидко колеблемые отражением солнца и сада.

Она, довольная, держала его под руку, пока входили в дом следом за громко говорившей хозяйкой, — и естественность уже улетучилась, он уже неловко сгибал свою-не-свою руку — и на пороге гостиной, в которой гремели вошедший вперед монолог и раскрываемые ставни, он руку высвободил и, в виде рассеянной ласки (а в действительности весь на мгновение уйдя в крепкое с ямкой осязание), слегка похлопал ее по бедру — беги, дескать, — и вот уже садился, пристраивал трость, закуривал, искал пепельницу, что-то отвечал — преисполненный дикого ликования.

От чайку он отказался, объяснив, что сейчас появится заказанный на вокзале автомобиль, что туда уже погружены его чемоданы (эта подробность, как бывает во сне, имела какой-то мелькающий смысл) и что: «Покатим с тобой к морю!» — почти выкрикнул он по направлению девочки, которая, оборотясь на ходу, чуть не упала с треском через табурет, но мгновенно выправила молодое равновесие, повернулась и села, покрыв табурет опавшей юбкой.

«Что?» — спросила она, отводя волосы и косясь на хозяйку (табурет уже раз был сломан). Он повторил. Она радостно подняла брови — не думала, что случится именно так, и сегодня же. «Я-то надеялась, — солгала хозяйка, — что вы у нас переночуете». — «О нет, — крикнула девочка, шаркающим скольжением подлетая к нему, и продолжала неожиданной скороговоркой: — А как вы считаете, я скоро научусь плавать, — одна моя подруга говорит, что можно сразу, то есть нужно сперва только научиться не бояться — а это берет месяц...» — но хозяйка уже толкала ее в локоть, чтобы она доуложила с Марией то, что приготовлено слева в шкафу.

«Признаюсь, не завидую вам, — сказала сдававшая должность, когда девочка выбежала. — Последнее время, особенно после гриппа, у нее бывают всякие вспышки и капризы, на днях нагрубила мне — трудный возраст. Вообще, мне кажется, хорошо бы, если бы вы взяли к ней пока что какую-нибудь барышню, а осенью — в хороший католический интернат. Смерть матери она переживает, как видите, довольно легко — да, может быть, не показывает — не знаю... Кончилось наше совместное житье... Я вам, кстати, еще осталась... Нет-нет, полностью, как же... Да, он только к семи приходит

со службы — будет очень жалеть... Жизнь — ничего не поделаешь! Она-то, бедняжка, во всяком случае, на небесах спокойна, да и у вас лучше вид — а если бы не наша встреча... Просто не вижу, как бы я содержала чужого ребенка, а из сиротских приютов прямой шаг сами знаете куда. Вот я поэтому всегда и говорю: жизнь — одно слово. Помните, как мы с вами — на скамейке — помните? Мне-то в голову не приходило, что она может найти второго, — а все-таки — мое женское чутье: что-то в вас было тоскующее — именно по такой пристани».

За листвою родился автомобиль. Садиться! Знакомая черная шапочка, пальто на руке, небольшой чемодан, помощь красноручкой Марии. Погоди, уж я тебе накуплю... Захотела непременно — рядом с шофером, и пришлось согласиться да скрыть досаду. Женщина, которой мы никогда больше не увидим, махала яблоневою веточкой. Мария загоняла цыплят. Поехали, поехали.

Он сидел, откинувшись, промеж колен держа трость, весьма ценную, старинную, с толстым коралловым набалдашником, и смотрел сквозь переднее стекло на берет и довольные плечи. Погода была необыкновенно жаркая для июня, в окно била горячая струя, вскоре он снял галстук и расстегнул ворот. Через час девочка на него

оглянулась (показала на что-то близ дороги, но он, хоть и обернулся с разинутым ртом, ничего не успел рассмотреть, — и почему-то без всякой связи подумалось, что все-таки — почти тридцать лет разницы). В шесть они ели мороженое, а говорливый шофер пил пиво за соседним столиком, обращаясь к клиенту с различными рассуждениями. Дальше. Глядя на лесок, волнистыми прыжками все приближавшийся с холмка на холмок, пока не съехал по скату и не споткнулся о дорогу, где был пересчитан и убран, — он думал: «Не сделать ли тут привал? Небольшая прогулка, посидим на мху среди грибов и бабочек...» Но остановить шофера он не решился: что-то невыносимое было в образе подозрительного автомобиля, бездельничающего на шоссе.

Затем стемнело; незаметно зажглись их фары. В первой же придорожной харчевне сели поужинать — и резонер опять развалился поблизости, да, кажется, заглядывался не столько на господский бифштекс с дутым картофелем, сколько на шору ее волос в профиль и прелестную щеку: голубка моя и устала, и покраснелась — путешествие, жирное жаркое, капля вина — сказывалась бессонная ночь, розовый пожар впотьмах, салфетка спадала с мягко вдавленной юбочки — и это теперь все мое, — он спросил,

сдаются ли тут комнаты, — нет, не сдавались.

Несмотря на растущую томность, она решительно отказалась променять свое место спереди на поддержку и уют в глубине, сказав, что сзади ее будет тошнить. Наконец, наконец среди черной жаркой бездны созрели и стали лопаться огоньки, и была немедленно выбрана гостиница, и уплачено за мучительную поездку, и покончено с этим. Она почти дремала, выползая на панель, застывая в синеватой, щербатой тьме, в теплом запахе гари, в шуме и дрожи двух, трех, четырех грузовиков, пользовавшихся ночным безлюдием, чтобы чудовищно быстро съезжать под гору из-за угла улицы, где ныл, и тужился, и скрежетал скрытый подъем.

Коротконогий, большеголовый старик в расстегнутой жилетке, нерасторопный, медлительный и все объяснявший с виноватым добродушием, что он только заменяет хозяина — старшего сына, отлучившегося по семейному делу, — долго искал в черной книге... сказал, что свободной комнаты с двумя кроватями нет (выставка цветов, много приезжих), но имеется одна с двухспальной: «Что сводится к тому же, вам с дочкой будет только...» — «Хорошо, хорошо», — перебил приезжий, а туманное дитя стояло

поодаль, мигая и глядя сквозь проволоку на двоившуюся кошку.

Отправились наверх. Прислуга, по-видимому, ложилась рано — или тоже отсутствовала. Покамест, кряхтя и низко нагибаясь, гном испытывал ключ за ключом, — из уборной рядом вышла, в лазурной пижаме, курчаво-седая старуха с ореховым от загара лицом и мимоходом полюбовалась на эту усталую красивую девочку, которая, в покорной позе нежной жертвы, темнелась платьем на охре, прислонясь к стенке, опираясь лопатками и слегка откинутой лохматой головой, медленно мотая ею и подергиванием век как бы стараясь распутать слишком густые ресницы. «Отоприте же наконец», — сердито проговорил ее отец, плешивый джентльмен, тоже турист.

«Тут буду спать?» — безучастно спросила девочка и, когда, борясь со ставнями, поплотнее сощуривая их щели, он ответил утвердительно, посмотрела на шапочку, которую держала, и вяло бросила ее на широкую постель.

«Ну вот, — сказал он после того, как старик, ввалив чемоданы, вышел и остались только стук сердца да отдаленная дрожь ночи. — Ну вот... Теперь надо ложиться».

Шатаясь от сонливости, она наткнулась на край кресла, и тогда, одновременно са-

дясь, он привлек ее за бедро — она, выгнувшись, вырастая, как ангел, напрягла на мгновение все мускулы, сделала еще полшажка и мягко опустилась к нему на колени. «Моя душенька, моя бедная девочка», — проговорил он в каком-то общем тумане жалости, нежности, желания, глядя на ее сонность, дымчатость, заходящую улыбку, ощупывая ее сквозь темное платье, чувствуя на голом, сквозь тонко-шерстяное, полоску сиротской подвязки, думая о ее незащитности, заброшенности, теплоте, наслаждаясь живой тяжестью ее расползавшихся и опять, с легчайшим телесным шорохом, повыше скрещивающихся ног, — и она медленно обвила вокруг его затылка сонную руку в тесном рукавчике, обдавая его каштановым запахом мягких волос, но рука сползла, подошвой сандалии она дремотно отталкивала несессер, стоявший рядом с креслом... Прогрохотало за окном, и потом, в тишине, стало слышно, как ноет комар, и почему-то это ему мельком напомнило что-то страшно далекое, какие-то поздние укладывания в детстве, плывущую лампу, волосы сверстницы сестры, давным-давно умершей. «Душенька моя», — повторил он и, отведя трущимся носом кудрю, бережливо прилаживаясь, почти без нажима вкусил ее горячей шелковистой шеи около холодка цепочки;

затем, взяв ее за виски, так что глаза ее удлиннились и полусомкнулись, принялся ее целовать в расступившиеся губы, в зубы — она медленно отерла рот углами пальцев, ее голова упала к нему на плечо, про меж век виднелся лишь узкий закатный лоск, она совсем засыпала.

В дверь постучали — он сильно вздрогнул (отдернув руку от пояса — так и не поняв, как, собственно, расцепляется). «Проснись, слезай», — сказал он, быстро ее тормоша, и она, широко раскрыв пустые глаза, через кочку съехала. «Войдите», — сказал он.

Заглянул старик и сообщил, что господина просят сойти вниз: пришли из полицейского участка. «Полиция? — переспросил он, морщась в недоумении. — Полиция?.. Хорошо, идите, я сейчас спущусь», — добавил он, не вставая. Закурил, высморкался, аккуратно сложил платок, щурясь сквозь дым. «Слушай, — сказал он, прежде чем выйти. — Вот твой чемодан, вот я тебе его раскрою, найди, что тебе нужно, раздевайся пока и ложись; уборная — от двери налево».

«При чем тут полиция? — думал он, спускаясь по скверно освещенной лестнице. — Что им нужно?»

«В чем дело?» — резко спросил он, сойдя в вестибюль, где увидел застоявшегося жан-

дарма, черного гиганта с глазами и подбородком кретина.

«А в том, — последовал охотный ответ, — что вам, как видно, придется сопроводить меня в комиссариат — это недалеко отсюда».

«Далеко или недалеко, — заговорил путешественник после легкой паузы, — но сейчас за полночь, и я собираюсь ложиться. Кроме того, не скрою от вас, что всякий вывод, особенно столь динамический, звучит криком в лесу для слуха, не посвященного в предшествовавший ход мыслей, то есть проще: логическое воспринимается как зоологическое. Между тем глобтроттеру, только что и впервые попавшему в ваш радушный городок, любопытно узнать, на чем — на каком, может быть, местном обычае — основан выбор ночи для приглашения в гости, приглашения тем более неприемлемого, что я не один, а с утомленной девочкой. Нет, погодите, — я еще не кончил... Где это видано, чтобы правосудие предпосылало действие закона основанию его применить? Дождитесь улик, господа, дождитесь доносчика! Пока что — сосед не видит сквозь стену и шофер не читает в душе. А в заключение — и это, может быть, самое существенное — извольте ознакомиться с моими бумагами».

Помутневший дурень ознакомился — очнулся и пустился трепать незадачливого ста-

рика: оказалось, что тот не только спутал две схожие фамилии, но никак не мог объяснить, когда и куда нужный проходимец съехал.

«То-то», — сказал путешественник мирно, досаду за задержку полностью выместив на поспешившем враге — при сознании своей неуязвимости (слава Року, что сзади не села, слава Року, что грибов не искали в июне, — а ставни, конечно, плотные).

Добежав до площадки, он спохватился, что не заметил номера комнаты, остановился в нерешительности, выплюнул окуроч... но теперь нетерпение чувств не пускало вернуться за справкой, — и не нужно — помнил расположение дверей в коридоре. Нашел, быстро облизнулся, взялся за ручку, хотел...

Дверь была заперта; и отвратительно поддалось под сердцем. Раз заперлась — значит, от него, значит — подозрение, не надо было так целовать, спугнул, что-нибудь заметила, — или глупее и проще: по наивности убеждена, что он лег спать в другой комнате, в голову не пришло, что она будет спать в одной, вместе с чужим — все-таки еще чужим, — и он постучал, едва ли еще сам сознавая всю силу своей тревоги и раздражения.

Услышал отрывистый женский смех, гнусное восклицание матрацных пружин и затем шлепанье босых ног. «Кто там? — сердито спросил мужской голос. — Ах, вы ошиблись?»

Так, пожалуйста, не ошибайтесь. Человек тут занимается делом, человек обучает молодую особу, человека перебивают...» В глубине опять прокатился смех.

Ошибка была пошлая — и только. Он двинулся дальше по коридору — вдруг сообразил, что не та площадка, — пошел назад, повернул за угол, озадаченно взглянул на счетчик в стене, на раковину под каплющим краном, на чьи-то желтые сапоги у двери — повернул опять — лестница исчезла! Та, которую он наконец нашел, оказалась другой: спустившись по ней, он заблудился в полутемных помещениях, где стояли сундуки, где из углов выступали с фатальным видом то шкафчик, то пылесос, то сломанный табурет, то скелет кровати. Вполголоса выругался, теряя власть над собой, изведенный этими преградами... Толкнул дверь в глубине и, стукнувшись головой о низкую притолоку, вынырнул в вестибюль со стороны тускло освещенного закута, где, почесывая щетину щеки, старик смотрел в черную книгу, а на лавке рядом храпел жандарм — как в кордегардии. Получить нужное сведение было делом минуты — слегка удлиненной извинениями старика.

Он вошел. Он вошел и прежде всего, никуда не глядя, украдчиво горбясь, дважды повернул тугой ключ в замке. Затем

увидел черный чулок с резинкой под умывальником. Затем увидел раскрытый чемодан, начатый в нем беспорядок, полувытащенное за ухо вафельное полотенце. Затем увидел комок платья и белья на кресле, поясок, второй чулок. Только тогда он повернулся к острову постели.

Она лежала на спине поверх нетронутого одеяла, заложив левую руку за голову, в разошедшемся книзу халатике — сорочки не доискалась, — и при свете красноватого абажура, сквозь муть, сквозь духоту в комнате он видел ее узкий впалый живот между невинных выступов бедренных косточек. Со звуком пушечной пальбы поднялся со дна ночи грузовик, стакан зазвенел на мраморе столика, и было странно смотреть, как мимо всего ровно тек ее заколдованный сон.

Завтра, конечно, начнем с азов, с продуманной постепенности, но сейчас ты спишь, ты ни при чем, не мешай взрослым, так нужно, это моя ночь, мое дело, — и, раздевшись, он лег слева от едва качнувшейся пленницы и застыл, сдержанно переводя дух. Так: час, которым он бредил вот уже четверть века, теперь наступил, но облаком блаженства он был скован, почти охлажден; наплывы и растекание ее светлого халатика, мешаясь с откровениями ее красо-

ты, еще дрожали в глазах сложной зыбью, как сквозь хрусталь. Он все не мог найти оптический фокус счастья, не знал, с чего начать, к чему можно притронуться, как полнее всего в пределах ее покоя насытиться этим часом. Так. Пока что, с лабораторной бережностью, он снял с кисти бельмо времени и через ее голову положил на ночной столик между блестящей каплей воды и пустым стаканом.

Так. Бесценный оригинал: спящая девочка, масло. Ее лицо в мягком гнезде тут рассыпанных, там сбившихся кудрей, с бороздками запекшихся губ, с особенной складочкой век над едва сдавленными ресницами, сквозило рыжеватой розовостью на ближней к свету щеке, флорентийский очерк которой был сам по себе улыбкой. Спи, моя радость, не слушай. Уже его взгляд (себя ощущающий взгляд смотрящего на казнь или на точку в пропасти) пополз по ней вниз, левая рука тронулась в путь — но тут же он вздрогнул, ибо шевельнулся кто-то другой в комнате — на границе зрения — не сразу признал отражение в шкафном зеркале (его уходящие в тень пижамные волосы, да смутный отблеск в лакированном дереве, да что-то черное под ее розовой щиколоткой). Наконец решившись, он слегка погладил ее по длинным, чуть разжа-

тым, чуть липким ногам, шершаво свежев-
шим книзу, ровно разгоравшимся к вер-
ховьям, — с бешеным торжеством вспом-
нил ролики, солнце, каштаны, все... — пока
концами пальцев поглаживал, дрожа и ко-
сясь на толстый мысок, едва опушивший-
ся, — по-своему, но родственно сгустивший
в себе что-то от ее губ, щек, — а немного
повыше, на прозрачном разветвлении вен,
упивался комар, и, ревниво прогоняя его,
он нечаянно помог спасти давно мешавше-
му отвороту, и вот они, вот, эти странные,
слепые, как бы двумя нежными нарывами
вспухшие грудки, — и теперь обнажилась
вдоль тонкой, еще детской мышцы натяну-
тая, молочно-белая впадина подмышки в
пяти-шести расходящихся, шелковисто-тем-
ных штрихах — туда же стекала наискось
золотая струйка цепочки — вероятно, крес-
тик или медальон — и уже начинался опять
ситец — рукав круто закинутой руки. В ко-
торый раз нахлынул и взвыл грузовик, на-
полняя комнату дрожью, — и он остановил-
ся в своем обходе, неловко накренившись
над ней, невольно вжимаясь в нее зрением
и чувствуя, как отроческий, смешанный с
русостью запах ее кожи зудом проникает
в его кровь. Что мне делать с тобой, что
мне с тобой... Девочка во сне вздохнула,
разожмурился пупок, и медленно, с воркую-

щим стоном, дыхание выпустила, и этого было достаточно ей, чтобы продолжать дальше плыть в прежнем оцепенении. Он тихонько вытащил из-под ее холодной пятки примятую черную шапочку — и снова замер с биением в виске, с толчками ноющего напряжения — не смел поцеловать эти угловатые сосцы, эти длинные пальчики ног с желтоватыми ногтями — отовсюду возвращаясь сходящимися глазами к той же замшевой скважинке, как бы оживавшей под его призматическим взглядом, — и все еще не зная, что предпринять, боясь упустить что-то, до конца не воспользоваться сказочной прочностью ее сна. Духота в комнате и его возбуждение делались невыносимы, он слегка распустил пижамный шнур, впивавшийся в живот, и, скрипнув сухожильем, почти бесплотно скользнул губами там, где виднелась родинка у нее под ребром... но было неудобно, жарко... напор крови требовал невозможного. Тогда, понемножку начав колдовать, он стал поводить магическим жезлом над ее телом, почти касаясь кожи, пытая себя ее притяжением, зримой близостью, фантастическими сопоставлениями, дозволенными сном этой голой девочки, которую он словно мерил волшебной мерой, пока слабым движением она не отвернула лица, едва слышно во сне причмокнув.

нув, — и все замерло снова, и теперь он видел промеж коричневых прядей пурпурный ободок уха и ладонь освобожденной руки, забытой в прежнем положении. Дальше, дальше. В скобках сознания, как перед забытием, мелькали эфемерные околичности — какой-то мост над бегущими загонами, пузырек воздуха в стекле какого-то окна, погнутое крыло автомобиля, еще что-то, где-то виденное недавно вафельное полотенце, а между тем он медленно, не дыша, подтягивался и вот, соображая все движения, стал пристраиваться, примеряться... под боком опасно поддалась пружина, правый осторожно похрустывающий локоть искал опоры, взор заволочло туманом тайной сосредоточенности... Он почувствовал пламень ее ладной ляжки, почувствовал, что больше сдерживаться не может, что все — все равно, — и по мере того, как между его шерстью и ее бедром закипала сладость, ах, как отрадно раскрепощалась жизнь, упрощаясь до рая, — и, еще успев подумать: нет, прошу вас, не убирайте, — он увидел, что, совершенно проснувшись, она диким взглядом смотрит на его вздыбленную наготу.

Мгновенно, в провале синкопы, он увидел и то, чем ей это представилось — каким уродством или страшной болезнью, — или она уже знала — или все это вместе, —

она смотрела и вопила, но волшебник еще не слышал ее вопля, оглушенный собственным ужасом, стоя на коленях, подхватывая складки, ловя шнур, стараясь остановить, спрятать, щелкая скошенной судорогой, бессмысленной, как стук вместо музыки, бессмысленно истекая топленным воском, не успевая ни остановить, ни спрятать. Как она скатилась с постели, как она теперь орала, как убегала лампочка в своем красном куколе, как грохотало за окном, ломая, добывая ночь, все, все разрушая. «Замолчи, это по-хорошему, такая игра, это бывает, замолчи же», — умолял он, пожилой и потный, прикрываясь мелькнувшим макинтошем, трясясь, надевая, не попадая. Она, как дитя в экранной драме, заслонялась остреньким локтем, вырываясь и продолжая бессмысленно орать, и кто-то бил в стену, требуя невообразимой тишины. Попыталась выбежать из комнаты, не могла отпереть, а он не мог ухватить, не за что, некого, теряла вес, скользкая, как подкидыш, с лиловым задком, с искаженным младенческим личиком, — укатывалась — с порога назад в люльку, из люльки обратным ползком в лоно бурно воскресающей матери. «Ты у меня успокоишься, — кричал он (толчку, точке, несуществующему). — Хорошо, я уйду, ты у меня...» — справился с дверью, выско-

чил, оглушительно запер за собой — и, еще слушая, стискивая в ладони ключ, босой, с пятном холода под макинтошем, так стоял, так погружался.

Но из ближнего номера уже появились две старухи в халатах: первая, как негр седая, коренастая, в лазурных штанах, с заокеанским захлебом и токанием — защита животных, женские клубы — приказывала — этуанс, этудверь, этусубть — и, царапнув его по ладони, ловко сбила на пол ключ, — в продолжение нескольких пружинистых секунд он и она отталкивали друг дружку боками, но все равно все было кончено, отовсюду вытягивались головы, гремел где-то звонок, сквозь дверь мелодичный голос словно дочитывал сказку — белозубый в постели, братья с шапрон-ружьями, — старуха завладела ключом, он быстро дал ей пощечину и побежал, весь звеня, вниз по липким ступеням. Навстречу бодро взбирался брюнет с эспаньолкой в подштанниках, за ним извивалась щуплая блудница — мимо; дальше — поднимался призрак в желтых сапогах, дальше — старик раскорякой, жадный жандарм — мимо; и, оставив за собой множество пар ритмических рук, гибко протянутых в пригласительном всплеске через перила, — он, пируэтом, на улицу — ибо все было кончено, и любым изворотом, лю-

бым содроганием надо было тотчас отделаться от ненужного, досмотренного, глупейшего мира, на последней странице которого стоял одинокий фонарь с затушеванной у подножья кошкой. Ощущая босоту *уже* как провал в другое, он понесся по пепельной панели, преследуемый топотом вот уже отстающего сердца, и самым последним к топографии бывшего обращением было немедленное требование потока, пропасти, рельсов — все равно как, — но тотчас. Когда же завыло впереди, за горбом боковой улицы, и выросло, одолев подъем, распирая ночь, уже озаряя спуск двумя овалами желтоватого света, готовое низринуться, — тогда, как бы танцуя, как бы вынесенный трепетом танца на середину сцены — под это растущее, руплегрохотный ухмышь, краковьяк, громовое железо, мгновенный кинематограф терзаний — так его, забирай под себя, рвякай хрупь — плашмя приклепнутым лицом я еду — ты, коловратное, не растаскивай по кускам, ты, кромсающее, с меня довольно — гимнастика молнии, спектограмма громовых мгновений — и пленка жизни лопнула.

ДМИТРИЙ НАБОКОВ

О КНИГЕ,
ОЗАГЛАВЛЕННОЙ
«ВОЛШЕБНИК»

Название нижеследующих заметок, которые, возможно, заинтересуют читателя и ответят на несколько вопросов, было выбрано с полусерьезной мыслью, что отголосок отцовского послесловия к «Лолите» может позабавить тень отца, где бы она ни находилась.

Как при переводе, так и в комментариях я всеми силами старался придерживаться набоковских правил: точность, художественная верность оригиналу, никакой воды, никакой отсебятины. Любые более смелые предположения, чем те, на которые я отважился, нарушили бы эти правила.

Сам перевод отражает мое стремление верно передать как общий смысл подлинника, так и отдельные особенности текста. Многолетние занятия переводами для отца и вместе с ним утвердили во мне эти его категорические требования. Единственно, когда он считал отступления допустимыми, — это непереводимые выражения и изменения, которые при переводе вносит в свое произведение сам автор. Вполне возможно, что, будь он жив, ВН воспользовался бы своим правом автора

изменить некоторые детали «Волшебника»; думаю, однако, что он предпочел бы сохранить нетронутой эту выразительную модель, содержащую несколько уровней смысла. Редкие случаи, когда я позволил себе незначительные отступления от оригинала, касаются как раз тех мест — например, многослойной игры слов, связанной с Красной Шапочкой (с. 61, строки 3—4; с. 87, строки 17—18), или стремительной скорости, заданной ВН образности рассказа в финале, — буквальный перевод которых выглядел бы бессмыслицей на английском языке. Порой английский перевод может показаться несколько необычным. Но таков же в подобных случаях и русский оригинал.

Другие возможные переводы русского слова *волшебник* — «magician» или «conjuro», но я учел ясно выраженную волю Набокова, чтобы в данном случае оно было переведено как «enchanter». «Волшебник» был создан в период с октября по ноябрь 1939 года. Рассказ был подписан «В. Сиринь» — этим псевдонимом ВН с юношеских лет подписывал свои русские вещи, чтобы их не путали с писаниями его отца, которого также звали Владимир. По-русски *сирин* — это и разновидность совы, и древняя сказочная птица, но, по всей вероятности, он никак не связан, вопреки предположениям некоторых, со словом *сирена*.

Текст оригинала был продиктован первому читателю отца, Вере Набоковой, отпечатавшей его на машинке. Судя по письмам Набокова, вскоре после этого он показал рассказ четырем другим людям, своим литературным друзьям (см. Первое примечание автора).

По-видимому, в какой-то момент машинопись была также показана в Париже эмигрантскому критику Владимиру Вейдле. Это произошло не позднее мая 1940 года, когда мы отплыли в Нью-Йорк. Эндрю Фильд, который, кажется, читал статью, написанную спустя почти сорок лет с того момента очень старым Вейдле, незадолго до его смерти, утверждает¹, что вещь, показанная Вейдле, в нескольких отношениях отличалась от «Волшебника» (о котором у Фильда имеется в лучшем случае весьма расплывчатое представление, поскольку он видел лишь две страницы и один или, быть может, оба набоковских комментария, представленных в начале настоящего издания).

Предположительно тот вариант назывался «Сатир», девочка «была не старше десяти лет» и заключительная сцена происходила не на французской Ривьере, а «в отдаленном отель-

¹ В VN: *The Life and Art of Vladimir Nabokov*, New York, Crown, 1986. Странная стряпня, составленная из озлобленности, подхалимажа, грязных намеков и явных фактических ошибок, которую у меня была возможность прочитать в корректуре.

чике в Швейцарии». Фильд также называет главного героя Артуром. Непонятно, узнал ли он это имя от того же Вейдле, или (что более вероятно) он просто подглядел его в воспоминаниях отца в его послесловии к «Лолите». Я выдвинул предположение, согласно которому Набоков про себя называл главного героя Артуром и, возможно, даже использовал это имя в предварительных набросках. Однако крайне маловероятно, чтобы имя упоминалось в рукописи, в которой, как утверждает Вейдле, по словам Фильда, уже были даны «указания наборщику».

Что же касается трех отличий, приводимых Фильдом, даже если он точно пересказывает статью Вейдле, то последний, должно быть, сохранил довольно смутное воспоминание о том далеком событии (на самом деле Фильд признает, что Вейдле «не мог вспомнить, было ли у девочки имя в рассказе»). Дело же просто в том, что варианта под названием «Сатир» просто никогда не существовало; к тому же такое название показалось бы в высшей степени неправдоподобным любому, кто обладает чутким слухом к манере обращения Набокова с языком. Полагаю, столь же невысокой степени доверия заслуживают и остальные утверждения Вейдле.

Мне было пять лет, когда писался «Волшебник», и я был, мягко говоря, отвлекающим фактором в нашей парижской квартире

и пансионах на Ривьере. Я помню, как в перерывах между долгими играми со мной, на которые отец никогда не жалел времени, он порой удалялся в ванную комнату нашего более чем скромного жилища, чтобы поработать в тиши, не используя, правда, для этого — как делал, бреясь, Джон Шейд в «Бледном огне» — положенную поперек ванны доску. Хотя я уже осознавал, что мой отец «писатель», я совершенно не представлял себе, что собственно писалось, и мои родители, разумеется, не пытались познакомить меня с рассказом «Волшебник» (думаю, что из написанного моим отцом я знал в то время лишь его перевод сказки Кэрролла «Аня в Стране чудес», а также небольшие истории и песенки, которые он придумывал для меня). Возможно, что к тому времени, когда отец писал «Волшебника», я уже был отправлен в Довиль с маминой кухней, поскольку существовали опасения, что очень скоро гитлеровские бомбы начнут разрываться и в Париже. (Так и вышло, но только после нашего отъезда в Америку, причем в то самое время, когда мы плыли через океан на Шамплене, в наш дом, как мне кажется, угодила одна из тех немногих бомб, что были действительно сброшены на город. Судну также была угрожена гибель после того, как корабль благополучно, без каких-либо особых происшествий, доставил нас в Америку, разве что од-

нажды во время плавания кит, выпустив в воздух фонтан, встревожил парочку стрелков, уже готовых было открыть по нему огонь; во время своего следующего рейса, на который у нас первоначально были билеты, корабль был потоплен немецкой подводной лодкой, вместе со всеми, кто находился на его борту.)

Помимо того что уже стало или теперь становится известным публике, мать и я немногое можем вспомнить о зарождении у ВН идеи рассказа, но можем лишь предостеречь читателя от некоторых вздорных предположений, сделанных особенно в последнее время. Что же касается связи с «Лолитой», тема ее, по-видимому, была оставлена в покое (как замечает сам Набоков в эссе «О книге, озаглавленной „Лолита“») до той поры, пока новый роман не пустит ростки, — примерно так же, как в случае прерванного романа «Solus Rex» и позднейшего, во многом отличного от него, но все же родственного «Бледного огня».

Из набоковского послесловия к «Лолите», написанного в 1956 году, явствует, что в то время он полагал, что все существовавшие машинописные экземпляры «Волшебника» уничтожены, а его воспоминание о новелле было несколько туманным — отчасти из-за того, что прошло много времени, а в основном потому, что он отверг ее как «отработанный материал», который заменила собою «Лолита». Считав-

шийся утраченным текст нашелся, вероятно, незадолго до того, как ВН предложил его, с возродившимся энтузиазмом, издательству «Путнам» (см. Второе примечание автора).

Я долго ничего не знал о существовании вещи, узнав же, сумел прочитать ее только в начале восьмидесятых, когда наши обширные архивы были наконец разобраны Брайеном Бойдом (автором подробной и безукоризненно точной биографии ВН, которая должна выйти в свет в 1988 году). Вот тогда-то «Волшебник», который был просмотрен отцом в шестидесятых, прежде чем опять утонуть в море вещей, отправленных в Швейцарию со склада в Итаке, вновь вынырнул.

Я завершил более или менее окончательную версию перевода в сентябре 1985 года.

За изначальное побуждение к тому, чтобы взяться за отнюдь не легкое дело, я должен сердечно поблагодарить Мэтью Брукколи, имевшего в виду издать вещь очень ограниченным тиражом, как Набоков когда-то и предлагал Уолтеру Минтону, тогдашнему президенту «Путнама».

Дебют «Волшебника» у публики совпадает по времени с событием, бросающим на него забавный и поучительный отсвет. В 1985 году в Париже началась энергичная, хоть и ведущаяся в одиночку кампания, цель которой — приписать Владимиру Набокову изданную под псев-

донимом, совершенно не-набоковскую книгу, вышедшую еще в середине тридцатых и озаглавленную «Роман с кокаином».

Входя в очень небольшое число вновь открытой Набоковианы, «Волшебник» является наиболее ярким образчиком той поразительно оригинальной прозы, которая вышла из-под пера Набокова-Сирина в его наиболее зрелые — и последние — годы романиста, пишущего на родном языке (на самом деле незадолго до того, как написать в 1939 году «Волшебника», ВН закончил свою первую крупную английскую вещь, «Истинную жизнь Севастьяна Найта», а 1940-й стал годом нашего переезда в Соединенные Штаты).

Для тех, у кого еще могут оставаться какие-то сомнения по поводу авторства другой книги, беглого сопоставления ее содержания и стиля с содержанием и стилем «Волшебника» должно быть достаточно, чтобы всадить последние несколько пуль в эту умирающую газетную утку.

Краткий отчет об этом странном деле будет тем не менее по возможности точным. В начале 1985 года в парижском журнале «Вестник русского христианского движения» профессор Сорбонны Никита Струве с большой убежденностью заявил, что «Роман с кокаином», некоего «М. Агеева», написанный в начале тридцатых годов в Стамбуле и вскоре опубликованный в парижском эмигрантском журнале

«Числа», принадлежит перу Владимира Набокова.

В доказательство этого тезиса Струве привел предложения из «Романа с кокаином», которые, по его мнению, «типичны для Набокова». Утверждения Струве были подхвачены Джулианом Граффи из Лондонского университета, который в письме в (лондонское) «Литературное приложение к „Таймс“» упоминает сделанный Струве «подробный анализ второстепенных тем, структурных приемов, семантических полей [что бы под этим ни подразумевалось] и метафор в РСК, которые признаются, на основе многократного цитирования и сравнения... набоковскими по своей сущности».

С тех пор отголоски теории Струве раздавались еще в нескольких публикациях в Европе и Соединенных Штатах.

Можно указать на множество слабостей стиля Агеева — например, явно неправильные формы слов вроде «зачихнул» (вместо «чихнул») или «использовывать» — очевидных всякому, кто знаком с русским языком. Удивительно, что такой сорбоннский специалист по русскому языку и литературе, как Струве, или такой профессор-славист Лондонского университета, как Граффи, могли спутать неправильные, а подчас и вульгарные выражения недостаточно образованного Агеева с точным и выверенным стилем Набокова. Как замечает Дмитрий Савицкий в статье, опро-

вергающей теорию Струве (Русская мысль. 1985. 8 ноября), русскому языку Набокова присущ безупречный ритм классической поэзии, в то время как русский Агеева «замысловат, ухабист, неровен». Одного взгляда на стиль Агеева достаточно, чтобы сделать ненужным опровержение остальных аргументов Струве.

В своей вышедшей в 1986 году книге Фильд рассматривает вероятность того, что «Роман с кокаином» может быть преднамеренной мистификацией со стороны Набокова или кого-то еще. Он заканчивает, однако же, утверждением, что «можно сказать с полной уверенностью... что есть *какая-то* связь между произведениями Агеева и Сирина», поскольку существует частичное созвучие имени Синат, которое носит один из персонажей Агеева¹, с набоковским Цинциннатом в «Приглашении на казнь».

Связь между Синатом и Цинциннатом подпадает под ту же категорию научных изысканий, что и, скажем, раздутая Фильдом шума о романе на стороне, абсолютная чепуха о тайном беспробудном пьянстве, нелепые предположения о смерти отца или утвержде-

¹ В его рассказе «Паршивый народ», изначально опубликованном (после романа) под оскорбительным названием «Жид», которым Набоков, между прочим, ни за что на свете не стал бы называть свое произведение.

ние, что Набоков в своих письмах к матери обращался к ней «Лолита» (на чем Фильд строит типичный для себя домик из крапленых карт). В последнем случае его аргументация такова: отец, с присущей ему сдержанностью джентльмена, предпочел стереть свое обычное ласковое обращение к матери, которую звали Елена, в копиях писем, показанных им Фильду еще до того, как тот обнаружил свое подлинное лицо. Фильд, перепробовав, я полагаю, множество луп различной силы, углядел след от «хвостика или шляпки» кириллической буквы «т» в уголку того места, где находилось стертое приветствие (между прочим, написанная от руки строчная кириллическая «т», как правило, похожа на маленькую латинскую «m» и поэтому не имеет ни хвостика, ни шляпки). По этой причине и потому, что недостающее слово «было длиною около семи букв», а также потому, что отец сказал ему, что «Лёля» — это вполне нормальное русское имя, уменьшительное от имени «Елена», и еще бог знает по каким причинам, Фильд заключает (тем самым грубо посягая на область личных чувств), что это слово было «Лолита, разумеется», и, что характерно, продолжает ссылаться на эту нелепость как на доподлинно установленный факт далее в своей книге.

И не важно, что «Лолита» состоит всего из шести букв, что образование латинского

уменьшительного было бы немислимым в рамках русской этимологии, где испанские имена не пользовались такой популярностью, как французские или английские; русское слово, стертое из желания сохранить в неприкосновенности интимную сторону переписки и из уважения к памяти любимой матери, было «радость». Обычное эпистолярное приветствие Набокова к матери, и, конечно, у нас есть оригиналы писем, подтверждающие это. А Лолита Гейз довольно долгое время была Жуанитой Дарк в отцовских черновиках романа. Ну, хватит о «Лолите, разумеется».

Но оставим Фильда у развалин его теорий и наведем другой угол мусорной кучи, дабы похоронить споры, связанные с Агеевым, интересные лишь постольку, поскольку они позволяют выявить всю огромную разницу между произведением этого автора и «Волшебником».

Исследования, проделанные Фрэнком Уильямсом, автором рецензии на английский перевод агеевского романа в «Литературном приложении к „Таймс“» от 5 июля 1985 года, французским журналистом Аленом Гарриком, предпринявшим поездку в Стамбул, чтобы написать большую статью на эту тему для «Либерасьон», и другими, позволили установить следующую хронологию событий.

После того как «Роман с кокаином» появился в «Числах» и возбудил определенное любопытство в эмигрантских кругах, русскую

даму в Париже, которую звали Лидия Червинская, попросили выяснить с помощью ее родителей, живших в Стамбуле, откуда и была прислана рукопись, кто такой Агеев. Червинская разыскала его там, помещенного в лечебницу для душевнобольных из-за бьющей его нервной дрожи и судорог. Спасенный отцом дамы, Агеев стал другом семьи и сблизился с Червинской, которой он открыл свое настоящее имя — Марк Леви — и поведал свою сложную и пеструю историю, включавшую в себя убийство русского офицера, бегство в Турцию и наркотическую зависимость.

Леви-Агеев отправился вместе с Червинской в Париж, но, прожив там какое-то время, вернулся в Стамбул, где в 1936 году умер — возможно, от последствий своего пристрастия к кокаину.

В. С. Яновский, который был связан с «Числами», когда рукопись впервые была получена в Париже, и который живет теперь в пригороде Нью-Йорка, подтвердил в интервью, напечатанном в «Нью-Йорк таймс» (8 октября 1985), что под рукописью, пришедшей в редакцию парижского журнала, стояла недвусмысленно еврейская подпись «Леви» и что в какой-то момент было принято решение заменить ее «более русским по звучанию именем». Наконец, разыскания, предпринятые автором вышедшего в 1982 году французского перевода романа, которые приводит и Уиль-

ямс, показывают, что «некто Марк Абрамович Леви был похоронен на еврейском кладбище в Стамбуле в 1936 году».

В то время как ни один искатель литературных приключений не отважился бы оспаривать авторство «Волшебника», профессор Струве, по-видимому, полон решимости во что бы то ни стало продолжать упрямую в своей косности, донкихотскую кампанию по приписыванию романа Агеева ВН, который — за исключением небольшой публикации совсем на другую тему в первом номере журнала — не посылал своих вещей в «Числа», позволившие себе грубый выпад против него вскоре после этого; никогда не бывал в Москве, где происходит действие романа, причем подробно описываются некоторые места; никогда не употреблял кокаина или других наркотиков; и писал, в отличие от Агеева, на чистом, правильном петербургском русском языке. Кроме того, если бы существовала какая-либо связь между Набоковым и «Романом с кокаином», кто-нибудь из его литературных знакомцев, вероятно, был бы посвящен в это, если же нет, то его жена, первая читательница и машинистка Вера Набокова, наверняка должна была знать.

Лепной парапет флоридской террасы, на которой я пишу все это, — с намеренно неровной поверхностью, покрытой белой краской, — по-

лон разнообразных узоров. Достаточно одного карандашного штриха тут и там, чтобы получился превосходный гиппопотам, строгий фламандский профиль, пышногрудая хористка или любое количество дружественных или смущенных маленьких бесформенных монстров.

Это то, что Набоков, в юные годы серьезно подумывавший о том, чтобы стать живописцем, так хорошо мог проделывать с богато украшенным абажуром, например, или с повторяющимся на обоях цветочным узором. Смешные рожицы, несуществующие, но правдоподобные бабочки, а также самим им выдуманные маленькие гротескные создания постепенно заселили гостеприимные укромные уголки в комнатах отеля «Монтрё-Палас», где он жил и работал, а некоторые из них и по сей день обитают в них, сохраняемые либо по нашим настойчивым указаниям, либо благодаря ненаблюдательности дружины уборщиков, которая ежедневно проносится вихрем по этим комнатам в послеполуденные часы, словно линия защиты футбольной команды. Парочку особенно симпатичных, увы, давно соскребли с изразцов возле ванны, которую отец принимал, к вящему ужасу Фильда, каждый божий день.

Такое обнаружение и перекройка случайных узоров являются в более широком смысле важной составной частью набоковского творческого метода. Счастлирое наблюдение, сообщенное

или вымышленное психологическое отклонение, переработанные фантазией художника, начинали свой собственный гармонический рост по мере того, как зародыш будущего произведения отрывался от изначального образа, телевизионной или газетной новости, а то и просто мечтания, спровоцировавшего в клетках процесс размножения.

Подобно некоторым другим произведениям Набокова, «Волшебник» — это опыт исследования безумия, увиденного через разум самого безумца. Отклонения вообще, как физические, так и психологические, были одним из многочисленных источников сырья, питавших творческую фантазию Набокова. Криминальная педофилия главного героя — как такая же преступная страсть позднейшего Гумберта в новом произведении и другой обстановке; как навязчивая идея убийства у Германа из «Отчаянья»; как сексуальные аномалии, являющиеся лишь одним из элементов «Бледного огня» и других вещей; как безумие шахматного маэстро Лужина¹ и музыканта Бахмана²; как уродство Картофельного эльфа³ и сиамских близнецов в «Двойном

¹ В «Защите Лужина» (1930).

² В рассказе «Бахман» из сборника «Возвращение Чорба» (1930).

³ В рассказе «Картофельный эльф» из сборника «Возвращение Чорба» (1930).

чудище»¹ — была одной из многих тем, избранных Набоковым для творческого процесса художественной перекройки мира.

А может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных... единственным и неповторимым образом, —

пишет Набоков в заключительном предложении своего рассказа 1925 года «Драка»². Это раннее высказывание — прямое, зато и недогматичное — о том, чему суждено было стать постоянным аспектом его эстетического подхода, будет, сдастся мне, еще не раз цитироваться в самых разных контекстах.

Слова «может быть», которыми Набоков вводит свою мысль, суть важный определитель. Будучи писателем-творцом, а не журналистом, освещающим социальные вопросы, или психоаналитиком, Набоков предпочел исследовать явления окружающего мира через преломляющие линзы своего художественного метода; в то же время правила, предъявляемые им к литературному творчеству, отличала точность в такой же степени, в какой научная чистота была присуща его энтомологическим

¹ В «Сценах из жизни двойного чудища» из сборника «Набоковская дюжина» (1958).

² Руль. 1925. 26 сентября.

исследованиям. Но даже если он и дорожил больше всего «комбинационными восторгами», которые художнику позволено испытывать, из этого ни в коем случае не следует, что Набоков был безразличен к ужасам тирании, убийства и растления детей; к трагедии социальной или личной несправедливости или к страданиям тех, кто почему-либо оказался обделен судьбой.

Чтобы понять это, необязательно было знать отца лично; достаточно вдумчиво прочесть его книги. Для Набокова-поэта свободно избранным способом выражения мыслей было не абстрактное изречение прописных истин, а конкретное художественное переживание. Однако если вы ищете подходящих цитат, которые выражали бы его кредо, то небольшой сократовский диалог из рассказа 1927 года «Пассажир»¹ предоставляет еще одну редкую возможность заглянуть в самую сущность его этоса. «Жизнь талантливее нас, — говорит первый персонаж, писатель. — Куда нам до нее! Ее произведения неперевоодимы, непередаваемы». А потому:

Нам остается делать с ее творениями то, что делает фильмoвый режисер с известным романом, меняя его до неузнаваемости... и все для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких по-

¹ Рассказ из сборника «Возвращение Чорба» (1930).

мех, карающий в начале добродетель, а в конце — порок... снабженный неожиданной, но все разрешающей развязкой... Нам кажется, что жизнь творит слишком размашисто и неровно, что ее гений слишком неряшлив, мы в угоду нашим читателям выкраиваем из ее свободных романов наши аккуратные рассказы, — *ad usum delphini*. Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай...

В конце рассказа его собеседник, мудрый критик, отвечает:

В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным.

Но в заключительной мысли писателя содержатся две новые самостоятельные, хотя и неотделимые друг от дружки идеи — любопытство художника и человеческое сострадание:

Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю.

Уже с первых страниц «Волшебника» начинаешь подозревать, что история добром не кончится, что циничный, достойный презрения главный герой получит по заслугам, и если необходима очевидная мораль, то это предчувствие и есть мораль рассказа. Однако, помимо того, что частично это — страшная

история, держащая читателя в напряжении, частично это также и мистический триллер: Рок играет с безумцем, то расстраивая его планы, то потворствуя ему, то грозя неминуемой уплатой долгов; события развиваются таким образом, что мы не знаем, с какой стороны последует удар, но мы все сильнее чувствуем, что он неминуем.

Герой — такой же мечтатель, как и другие, правда, в его случае довольно мерзкий мечтатель. Но, каким бы непривлекательным он ни был, его — временами объективный — самоанализ составляет один из наиболее мучительных планов рассказа. Можно даже сказать, что самоанализ и составляет плоть рассказа; и, через эти попытки по сути отрицательного главного героя осмыслить себя, Набокову удастся вызвать у читателя сострадание не только к жертвам, но и в определенной мере к самому злодею. Тоска по порядочности нет-нет да и проглянет сквозь неприкрытый цинизм героя, вынуждая его к патетичным попыткам самооправдания; и хотя границы размываются под напором его принужденных доводов, на мгновение он не может не почувствовать, что он чудовище. Так, несмотря на то что женщина, на которой он женится, для него — лишь средство, к тому же вызывающее отвращение, для достижения преступной цели, а девочка — лишь инструмент для его наслаждения, возникают и другие нюансы. Точ-

ка зрения текста — как и многие другие аспекты рассказа — порой может быть намеренно неопределенной, но сам безумец неизбежно осознает, в ошеломляющие моменты рассудочной ясности, патетическую сторону как матери, так и дочери. Его жалость к первой просвечивает, словно обратная сторона русских фраз, сквозь само отвращение, которое он пытается ими выразить; и есть трогательный момент сострадания, когда его глазами мы видим ее беременной «своей же смертью». Что же касается девочки, то существует хрупкий, глубоко порядочный сколок его души, который *хотел бы испытывать* к ней истинно отцовскую любовь.

Пускай он и злой искусник, Волшебник живет отчасти в зачарованном мире. И, обычный ли он безумец или нет, в особом, поэтическом плане он ощущает себя как безумный король (ибо ему ведомо, что так или иначе, а он безумен), — король, который неуловимо напоминает других тематически связанных набоковских монархов и является в то же время похотливым Лиром, живущим в сказочном уединении у моря со своей «маленькой Корделией», которая на какое-то мгновение видится ему невинной, невинно любимой дочерью. Но, как всегда, отцовское быстро переходит в демоновское, и зверь в нем погружается в столь напряженную педофилическую фантазию, что женщина-попутчица вынуждена перейти в другое купе.

В мучительные минуты самоанализа он обнаруживает в себе зверя и пытается избавиться от него. Изобретательно меткие образы повторяются в животном контрапункте: гиены в каждой гиене; онанистические щупальца; волчий оскал вместо улыбки; облизывание губ при мысли о беззащитной спящей добыче; весь лейтмотив Волка, готового сожрать свою Красную Шапочку, с его жутким финальным отзвуком. Этот темный зверь, сидящий внутри него, этот его внутренний враг, всегда должен домысливаться читателем как скрыто присутствующее собственное восприятие героем самого себя, и в разумные минуты его-то больше всего и боится Волшебник; так, уловив у себя на лице рассеянную улыбку, он размышляет с патетичной, робкой надеждой, что «рассеянным бывает только человек», а потому он тоже может быть-таки человеком.

Стратификация рассказа совершенно поразительна своими образами с двойным, а то и тройным дном. В каком-то смысле правда, что некоторые деликатные пассажи более откровенны, чем где-либо у Набокова. Но в другие моменты сексуальное подводное течение — не более чем мерцающая грань сравнения или небольшое отклонение мысли, преследующей совсем другую цель. Обилие уровней и смыслов, как известно, часто встречается у Набокова. И все же линия, по которой он ступает здесь, тонка, как лезвие бритвы, и вир-

туозность состоит в намеренной размытости вербальных и визуальных элементов, в сумме образующих некий комплекс, не поддающийся определению, но оказывающийся предельно точной единицей коммуникации.

Аналогичная двусмысленность, целью и результатом которой опять же является точное выражение сложного понятия, временами используется для передачи сопутствующих, но и борющихся друг с другом мыслей, пробегающих в мозгу главного героя. Как яркий пример того, что я имею в виду, позвольте мне процитировать один такой пассаж, парадоксы которого, на первый взгляд, ставят перед читателем и переводчиком одни и те же задачи, но, ежели подойти к ним, не отнимая у мысли возможности двигаться по запасному пути, идущему параллельно той ветке, что кажется главной, они вознаградят вас таким кристаллическим целым, которое больше суммы отдельных его частей; необходимая здесь открытость восприятия, которая, возможно, была бы чревата неоправданными смысловыми потерями в случае более традиционного произведения, сродни той, которая чуткому слуху помогает следить за контрапунктом Баха, или тематической текстурой Вагнера, или той, которую упрямый глаз навязывает сопротивляющемуся уму, когда их обладателю становится понятно, что одни и те же элементы хитроумного рисунка могут одновре-

менно изображать, скажем, обезьяну, праздно глазеющую из своей клетки, и большой резиновый мяч, качающийся безнадежно далеко от берега посреди отражений заката на однообразной ряби лазурного моря.

Чтобы не думать о предстоящих ему ненавистных супружеских обязанностях, герой вышел побродить в ночи. Он перебрал в голове различные варианты избавления от своей вновь приобретенной, уже ненужной жены, которая многообещающе больна, но каждое мгновение существования которой держит его вдали от возделаемой им девочки. Он подумал о яде, по-видимому вошел в аптеку, может быть, сделал покупку. По возвращении он видит полоску света под дверью «покойницы» и говорит себе: «Шарлатаны... придется держаться первоначальной версии». Таким образом, можно составить следующий перечень сосуществующих идей:

1. Он разочарован, что она не легла спать.
2. Он полуосознанно ставил знак равенства между сном и смертью.
3. То, что мы видим ее его глазами как «покойницу», означает его саркастическую реакцию на то, что она
 - а) еще бодрствует;
 - б) еще жива.
4. Или термин «покойница» означает, что в его мыслях она уже мертва или все равно что мертва.

5. Он должен теперь либо удовлетворить свою малособлазнительную новобрачную, либо найти правдоподобный предлог, чтобы пожелать ей доброй ночи и отправиться на боковую («первоначальная версия»).

6. Доступ к девочке остается для него таким же проблематичным, каким был прежде.

7. Шарлатаны — это

а) фармацевты, чье зелье он не купил;

б) фармацевты, чье зелье он купил, но не пустил в дело;

в) фармацевты, чье зелье его большое воображение, ставившее, как мы видели, знак равенства между бодрствованием и жизнью, уже подлило ей, ожидая застать женщину мертвой (под «фармацевтами» следует понимать всю систему судебной медицины, которая каким-то образом досадила ему);

г) муки совести и/или страха, заставившие его отбросить идею отравления и/или убийства вообще; или

д) надежда на чудо, позволившее ему простой силой воли вызвать ее кончину.

8. Все вышеперечисленное сливается в калейдоскопе безумного ума.

Вошел ли герой на самом деле в аптеку? Здесь, как и в других случаях, моя этика переводчика запрещает мне вносить в текст отца добавления, делающие вещи более понятными по-английски, чем они выглядят по-русски.

Многоплановость, приятная недоговоренность текста являются неотъемлемой чертой самого персонажа. Если бы ВН хотел дать более точные указания на этот счет, он сделал бы это в оригинале.

Время и место намеренно оставлены неопределенными в рассказе, действие которого развивается, по сути, вне времени и пространства. Можно предположить, что 1930-е годы почти миновали, и, как Набоков впоследствии подтвердил¹, что мы в Париже, а затем *en route* на юг Франции. Есть также небольшое путешествие в маленький городок не слишком далеко от столицы. Единственный персонаж, упомянутый в тексте по имени², является наименее важным: прислуга в этом провинциальном городе, помогающая горько обиженному судьбой ребенку укладывать вещи и отгоняющая цыплят, когда автомобиль с главным героем и жертвой, наконец-то соединившись, срывается прочь.

Я предоставляю усердным — среди которых есть несколько замечательно чутких читателей Набокова — подробное определение и описание тем и уровней (прямое повествование, хитроумная метафора, романтическая

¹ См. Первое примечание автора.

² Относительно имени, впоследствии данному Набоковым главному герою, см. Первое примечание автора и настоящую статью (С. 94).

поэзия, сексуальность, сказочная сублимация, математика, совесть, сострадание, страх быть вздернутым вниз головой), а также поиск скрытых параллелей со «Словом о полку Игореве» или «Моби Диком». Отец предостерег бы фрейдистов от ликования при эфемерном упоминании сестры, при странном впадении девочки в младенчество в конце рассказа или при виде затейливой трости (и *вправду* бесстыдно и забавно фаллической, но совершенно в другом плане, заставляющей также вспомнить аппетитные, «ценные» вещицы — вроде тех же редких, с пустым циферблатом часов, — которыми Набоков любил иногда наделять своих персонажей).

Возможно, следует объяснить некоторые другие сгущенные образы и выражения, поскольку было бы жаль, если бы они остались непонятыми. Вот несколько «особых» примеров, данных, в отличие тех, что были выделены выше, в порядке их следования в тексте.

«Черный салат, жевавший зеленого кролика» (с. 18, строки 28—29): одна из множества (см. ниже) зрительных аберраций, которые на одном уровне придают рассказу сюрреалистичную, волшебную ауру, на другом же описывают с предельной экономией и непосредственностью, как в один миг искажается восприятие действительности персонажа из-за изменения его состояния (в данном случае непреодолимо-

го, неизбывного, едва скрываемого возбуждения главного героя).

«Японские шажки» (с. 20, строка 20): многие, если не все, читатели, вероятно, видели на большом экране или на маленьком, или в опере, или, быть может, на самом Востоке походку в стиле гейши — короткие семенящие шаги в туфлях на высокой платформе, — с которой Набоков сравнивает продвижение девочки на коньках, чьи ролики отказываются катиться по гравию.

Потенциально более загадочен пассаж, в котором упомянут «странный перст без ногтя», нацарапанный на заборе (с. 36, строки 5—6). Здесь снова в игру вступают намеренная двусмысленность, параллельные образы и идеи, а также многоуровневые интерпретации. Разберем хотя бы вот эту: «настоящая, ослепительная возможность», всплывающая из субстрата мозга героя, — возможность получить доступ к девочке через женитьбу на матери. Эскиз на заборе — это гибрид указательного пальца руки, использовавшегося на старомодных дорожных указателях, и сделанного каким-то шутником фаллического рисунка в виде стилизованного, без ногтя, пальца, вполне очевидного намека для уже решившегося на гнусность, но не лишённого вспышек объективности и самобичевания рассудка. Этот перст одновременно указывает в быстро промелькнувшем образе на путь уха-

живания (за матерью), потаенные части тела желанной девочки и вульгарность самого главного героя, которую нельзя объяснить, сколько бы ни пытаться внести в нее рациональный элемент.

«Содержимость манжеты» (с. 38, строки 15—16): нам четко дается понять, что предстоит еще очень постараться, чтобы выиграть партию у бедной женщины. Игра слов, в которой можно расслышать несколько раз отраженное эхо русского названия рассказа, намекает на карту, спрятанную в рукаве у фокусника, — внешняя мишура брака — плюс настоящий, живой, возможно любящий муж, «живой туз червей». Здесь есть также параллельный, интроспективный нюанс: циничный трюк, которым эта пародия брака является для главного героя. Он разделяет эту скрытую шутку с восприимчивым читателем, но отнюдь, разумеется, не со своей будущей невестой. Мы имеем здесь такое же уплотнение смыслов и образов, как в случае с рисунком на заборе.

«Роза сквозняков» (с. 43, строка 28): ранняя итальянская картушка компаса, более стилизованная, чем нынешние, и показывавшая, как и современные компасы, основные и вспомогательные румбы (которые также соответствовали направлениям, откуда дует ветер), называлась *rosa dei venti*, «роза ветров», из-за своего сходства с цветком, а также потому, что направления ветра имели первостепенное

значение для мореплавателей; итальянский термин существует и по сей день. В переводе (*compass rose*) симпатичный эффект (возможно, понятный лишь небольшому числу читателей — мореплавателей и тех, кто знает итальянский) достигается благодаря тому, что образ отсылает к сквознякам, проникающим с разных сторон через окна, открытые уборщицей.

«Тридцать второе число» (с. 43, строка 29): еще один прекрасно сконцентрированный образ, который почти жаль убивать книжным толкованием. Яростные ощущения героя — предвкушение того, что он наконец окажется наедине с девочкой, удивление и досада, приводящие его в бешенство, когда он застаёт копошащуюся прислугу, — просто сделали его зрение размытым и заставили увидеть нелепую дату. Месяц несущественен. Здесь присутствует набоковская ирония, но также в повествование просачивается и капелька сострадания к монстру.

«Двоившаяся кошка» (с. 75, строка 2) — это кошка, которую видит ребенок столь усталый, что ему трудно удерживать предметы и одушевленных существ в фокусе. Оптически этот образ сродни «тридцать второму числу» и «зеленому кролику».

Можно было бы, конечно, дать подробное объяснение каждого трудного фрагмента, но тогда ученый комментарий получился бы длиннее, чем сам текст. Эти маленькие головоломки,

у каждой из которых есть своя художественная задача, должны быть еще и забавны. Поверхностный читатель, сонный от нездорового воздуха в салоне самолета и выпитых им бесплатных напитков, к несчастью, довольно часто склонен пропустить страничку-другую, именно так он и поступал с раскупавшейся влет «Лолитой».

Среди вещей, которые я больше всего люблю в рассказе, — напряженная интрига (каким образом греза будет развеяна явью?) и неожиданные повороты на каждой странице; жутковатый юмор (гротескная первая брачная ночь; подозрительный шофер, предвосхищающий Клэра Куильти; похожий на шекспировского шута ночной портье; отчаянные поиски главным героем комнаты, затерявшейся в лабиринте коридоров, — выйдет ли он, как в «Посещении музея»¹, в совершенно другой город, или же старик-портье, на которого он наконец набредает, поведет себя так, словно видит его в первый раз в жизни?); описания («лесок, волнистыми прыжками все приближавшийся с холмка на холмок, пока не съехал по скату и не споткнулся о дорогу», и многое другое); предварительные мелькания людей и вещей, ведущих собственную параллельную жизнь, которые невзначай или, наоборот, с роковыми последствиями появ-

¹ Рассказ из сборника «Весна в Фиальте» (1956).

ляются снова; грузовики, зловеще громыхающие в ночи; блистательно новаторское обращение с русским языком в оригинале; кинематографические образы сюрреалистичной концовки и бешеный темп, своего рода *stretta finale*, все ускоряющийся по мере приближения к сокрушительной кульминации.

С английским названием рассказа, выбранным отцом, довольно-таки очевидно перекликается название отеля, «Привал Зачарованных Охотников», в «Лолите». Я предоставляю другим исследователям отыскивать прочие пасхальные яйца подобного рода. Следует, однако, быть осторожным и не преувеличивать важности поверхностного сходства. Набоков считал «Волшебника» вполне самостоятельным произведением, лишь отдаленно связанным с «Лолитой». Быть может, в нем и содержалась, как выразился сам Набоков, «первая маленькая пульсация» позднейшего романа — даже этот тезис можно поставить под сомнение, если внимательно приглядеться к некоторым более ранним его вещам, — но мы не должны также забывать, что во всех вообще видах искусства происходит пульсация, предвещающая будущие, более крупные произведения; разные литературные опусы приходят в голову, например джойсовский «Портрет художника в юности». Или, наоборот, может существовать последующая мини-версия, окончательный экстракт — вроде «Портрета Ма-

нон» Массне. В любом случае «Волшебника» никак нельзя назвать «Портретом Лолиты»: различия между двумя вещами определенно более велики, чем сходства. Чем бы позднейшее сочинение ни было: романом между автором и английским языком, романом между Европой и Америкой, желчным взглядом на жизнь мотелей и окружающий ландшафт, «вольным переводом Онегина» на современный язык и нравы (эти и множество других предположений выдвигались и отстаивались — горячо, но с разной степенью серьезности и убедительности), «Лолита» — это, несомненно, результат новых и совершенно иных художественных побудительных мотивов.

Исходя из того, что лучше быть ангелом, чем простаком, когда рассматриваешь зарождение сложного художественного произведения, я не стану оценивать важности, которую имеет для «Лолиты» изучение Набоковым Льюиса Кэрролла; его наблюдения в Паоло-Альто в 1941 году; или запись, сделанная Хэвелоком Эллисом около 1912 года, признаний украинского педофила, которая была переведена с французского оригинала Дональдом Рэйфильдом (вполне реальным британским ученым, несмотря на то что его имя напоминает вымышленного Джона Рэя, д-ра философии, из «Лолиты»). По мнению Рэйфильда, высказанному им наряду с другими, менее убедительными утверждениями, Виктор, чей

случай был описан Эллисом, оказал несомненное влияние «на развитие темы и фабулы „Лолиты“, а также на странную чувственность и склад ума Гумберта Гумберта, героя самого изящного англоязычного романа Набокова». И, признавая, что «Волшебник» (в его переводе это название звучит «The Magician») был написан раньше, он далее выдвигает предположение, что отчет незадачливого украинца послужил окончательным импульсом для возникновения «центральной темы „Лолиты“»¹. Эта гипотеза заслуживала бы внимания, если бы не отдельные хронологические факты, на которые я вынужден тем не менее указать: лишь в 1948 году Эдмунд Уилсон прислал Набокову, который до этого не был знаком с ней, запись Эллиса — тогда как «Волшебник», содержащий то, что можно назвать «центральной темой» (но едва ли больше) «Лолиты», был написан в 1939 году.

Что касается влияния «Волшебника», то отдельные его идеи и образы действительно перекликаются с «Лолитой». Но как я — и многие другие — уже отмечал раньше, различные темы и детали часто повторяются в романах, рассказах, стихах и пьесах Набоко-

¹ Отдельными подробностями и цитатами, касающимися публикации *Confessions of Victor X* издательством «Grove Press», я обязан сообщению Эдвина Макдауэлла в «Нью-Йорк таймс» от 15 марта 1985 г.

ва. В данном случае переключка довольно слабая, а различия существенны: окружающая обстановка (географически, но — что еще важнее — в плане художественного решения); персонажи (подчас напоминающие друг друга, но в лучшем случае отдаленно); развитие сюжета и развязка (абсолютно другая).

Возможно, девочка в европейском парке, мимолетно припомнившаяся Гумберту на одной из первых страниц «Лолиты», — это своеобразная дань памяти Набокова маленькой героине «Волшебника», но вместе с тем это ее перевод навеки в разряд бесконечно далеких родственниц.

Долорес Гейз может, как говорит Набоков, быть «той же нимфеткой», жертвой злого Волшебника, но только в широком концептуальном смысле. В остальном же более ранняя девочка совершенно другая — извращенная лишь в глазах безумца; невинно неспособная на что-либо подобное сообщничеству с Куильти; сексуально не возбужденная и физически незрелая, отчего, возможно, Вейдле и запомнил ее как десятилетнюю.

Было бы серьезной ошибкой вкатиться на роликовых коньках этой протонимфетки в сад параллельных, поросших примулой тропок.

СОДЕРЖАНИЕ

Первое примечание автора (<i>пер. Д. Набокова</i>) . . .	7
Второе примечание автора (<i>пер. А. Склярченко</i>) . . .	10
ВОЛШЕБНИК	13
<i>Д. Набоков. О книге, озаглавленной</i> <i>«Волшебник» (пер. А. Склярченко)</i>	 89

Набоков В.

Н 14 Волшебник: Повесть. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 128 с.

ISBN 978-5-9985-0233-0

Повесть «Волшебник» Набоков назвал «первой маленькой пульсацией „Лолиты“». Эта повесть — предшественник знаменитого романа — была создана Набоковым в 1939 г. на русском языке, однако увидела свет значительно позднее. Автор вспомнил о ней лишь через 20 лет, когда разбирал архив: «Теперь, когда связь между мной и „Лолитой“ порвана, я перечитал „Волшебника“ с куда большим удовольствием, чем то, которое испытывал, припоминая его как отработанный материал во время написания „Лолиты“. Это прекрасный образчик русской прозы, точной и прозрачной...» При жизни автора повесть не была опубликована. Впервые читатели смогли оценить это произведение в 1986 г.: повесть вышла в свет на английском языке в переводе Дмитрия Набокова. Входя в очень небольшое число вновь открытой набоковианы, «Волшебник» является наиболее ярким примером той поразительной оригинальной прозы, которая вышла из-под пера Набокова-Сирина в его наиболее зрелые — и последние — годы романиста, пишущего на родном языке.

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
ВОЛШЕБНИК

Ответственная за выпуск Ирина Тарасенко
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Корректоры Анна Быстрова, Татьяна Никонова
Верстка Александра Савастени

Руководитель проекта Максим Крютченко

Подписано в печать 23.06.2009.
Формат издания 70×90 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Гарнитура «Петербург».
Тираж 7000 экз. Усл. печ. л. 4,68.
Заказ № .

Издательская Группа «Азбука-классика».
191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 9, лит. А, пом. 6Н.
www.azbooka.ru

Отпечатано по технологии СТР
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



КАВМ264901R